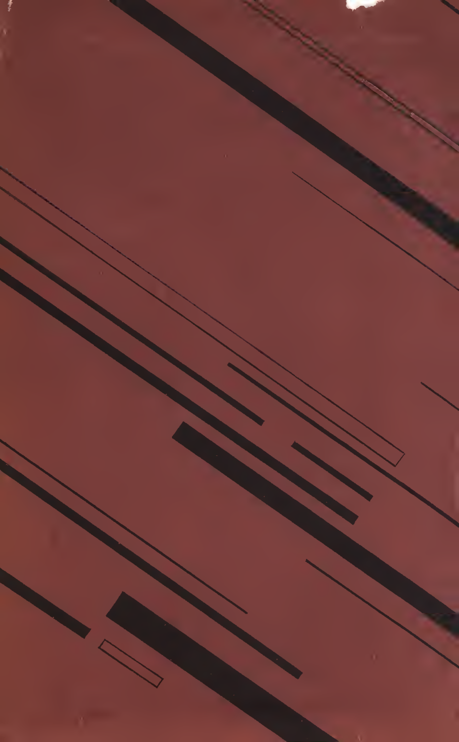
Андрей Платонов



Андрей Платонов

повести и рассказы

/1928-1934 годы/

МОСКВА
«Советская Россия»
1988

Р2
П37

Составлеиие, вступительиая статья и примечаиия
В. А. Чалмаева

Художиик **Г. И. Метченко**

П $\frac{4702010200-224}{\text{М-105(03)88}}$ КБ—45—48—1987

ISBN 5—268—00051—9

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК НА ПРАВАХ ПОЖАРА...

(Андрей Платонов в годы творческой зрелости)

> .Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений.
>
> *А. Платонов.*
> «Усомнившийся Макар» (1929)

> Я хочу быть понят
> моей страной.
>
> *В. Маяковский.*
> «Во весь голос» (черновой вариант)

...Время стремительно смывает следы человеческой жизни. Все рассказы об Андрее Платонове в 1929 году, скромном служащем московского «Росметровес», куда его устроил, зная призрачность платоновских литературных заработков, один из друзей, поразительно бледны и однообразны. Вспоминается частая смена жилья в Москве, впрочем, всегда оказывавшегося одинаково невзрачным. Сначала это был Большой Златоустинский переулок, дом специалиста, «где стены тонки, как бумага» (О. Мандельштам), затем комната возле Сухаревского рынка, наконец, «комнатушка» в Зарядье, в доме, где когда-то пребывали, как вспоминала М. А. Платонова, «милые, но падшие создания»... С 1932-го до смерти в 1951 году писатель — «попутчик второго призыва», по определению рапповской критики,— жил в скромной двухкомнатной квартире на Тверском бульваре. Эта квартира была получена при содействии — факт не совсем житейский — А. А. Фадеева.

Попутчик — первого или второго призыва — это в известном смысле «вольнопрактикующий». «Это племя подкармливается время от времени похвалами для того, чтобы оно не вымерло и сохранилось для диспутов,— для того, чтобы было на ком производить эксперименты»,— с горькой иронией в адрес проработчиков, монополистов на истину говорила в 1931 году Л. Н. Сейфуллина, автор чудесной повести «Виринея». Сказано как будто о Платонове!

Платонов родился и вырос в Ямской слободе, на окраине Воронежа, в многодетной семье мастерового П. Ф. Климентова, рано, в 14—15 лет, узнал тяжесть подневольного труда, унижение нищеты, и когда свершилась Октябрьская революция, он вместе с отцом, вместе с рабочими Воронежа (прежде всего с железнодорожниками депо, где работал отец) встал на ее защиту. В 1919 году, во время июньского наступления армии Деникина, Платонов был послан в Новохоперск для организации обороны, агитационной работы. «Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство»,— писал он жене М. А. Платоновой в 1922 году. В дальнейшем Платонов — рабочий интеллигент, активнейший сотрудник воронежских газет 20-х годов — «Красная деревня», «Воронежская коммуна», журнала «Железный путь», пламенный мечтатель о скорейшем переустройстве мира. Среди множества его статей этих лет выделяются статьи «Ленин», «Луначарский», «Золотой век, сделанный из электричества», «Слышные шаги», «Равенство в страдании», «Пролетарская поэзия»... Платонов этих лет — романтик революции:

Этот мир только нами украшен,
Выше его — наш гремящий полет.

В 1929 году Андрею Платонову было уже тридцать лет, он опытнейший мелиоратор и гидротехник, отлично знающий деревню, автор романтической книги стихов о революции «Голубая глубина» (1922), книг прозы «Епифанские шлюзы» (1927) и «Сокровенный человек» (1928). И был он, пожалуй, самым неблагополучным, беззащитным даже из племени «вольнопрактикующих».

Виктор Шкловский, иронизируя над групповым самодовольством, чванством, упреждающей сплоченностью нарочито «крестьянствующих» или кичащихся «чугуиной», «кузнечной» первоосновой голоса многих современных ему поэтов, писал об их жажде суетливо занять побольше стульев, кресел, лавок в чиновных рядах для себя и «своих»: «Место за пролетарскими писателями обеспечено историей. Им незачем занимать своего места шапками».

Андрей Платонов — рабочий, один из первых поборников ленинского плана электрификации, человек с революционной биографией — не участвовал в этой житейской толчее, не знал никаких амбиций честолюбия и властолюбия, никакой эксплуатации своей биографии, кроме творческой... Бор. Пильняк, известнейший в те годы писатель, отметил в журнальной статье одиночество, отшельничество писателя, невключенность его в группы, течения: «Системы у нас в блестящем порядке уже лет пять — а писатели, пришедшие за последний год: Юр. Олеша, П. Павленко, Андрей Платонов, в системах не состояли. Даже Либединский и Фадеев, великие систематизаторы, и те возникли до систематизации. И Олеша, и Иванов, и Платонов — приняты потому, что они индивидуальны, сиречь систему нарушают» (Печать и революция.—1929.— № 1)

Несколько проясняет Платонова 1929 года, года завершения романа «Чевенгур», упорной работы над повестью «Котлован» и публикации рассказа «Усомнившийся Макар», его восприятие, осознание Москвы Ее образ — это образ души и мысли писателя.

...Москва в произведениях Платонова — это и двор экономического института, откуда в жаркий день, когда тлели торфяники в Мещере на востоке от столицы, уйдет в мрачную пропасть земли, в котловину Азии коммунист Назар Чагатаев, чтобы спасти народ джан («Джан») Это и Казанский вокзал, откуда уедет в первый колхоз на Каспии специалист по мировым экономическим загадкам европеец Бернгард Хоз, чтобы «измерить светосилу той зари», что зажжена молодой Страной Советов над миром («14 красных избушек»). Москва — это и вчерашний день страны, неприглядная Москва-река на окраине, где «вода пахла мылом, а берега, насиженные голыми бедняками, походили на подступы к отхожему месту» («Чевенгур»). Но она же, платоновская Москва,— это и памятник Пушкину на Тверском бульваре, у подножия которого играет старый скрипач в сказке «Любовь к родине, или Путешествие воробья» Снежинки, как золотистая пыль, порхают в столбах света, морозные узоры на окнах домов, как волшебные цветы из неизвестной страны, и мелодия, как пристанище души..

Есть, однако, у Платонова, едва вырвавшегося в Москву из Тамбова, из бюрократической западни, где он, честный инженер, столкнулся с несокрушимой бюрократической стеной, где «хорошие специалисты беспомощны и задерганы», совсем иная Москва.

Усомнившийся Макар, провинциал, овца на взлетной полосе, не случайно спрашивает у милиционера в Москве: «Где же тут самый центр государства?» Когда он этот «центр» нашел, то «оперся о камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству». Центр — это то, что «виднее» всего из провинции, то, что «главнее», что ближе всего к цели. Платоновская Москва — это именно серьезнейший «центр», на который глядят с надеждой — «что-то Москва скажет?» — в 1929 году миллионы Макаров. В их среде, видимо, и рождался образ Москвы, которая «слезам не верит». Москва, «верховный руководящий город»,— это пик многих ожиданий, надежд. К нему в 1929 году (да и ранее) действительно обращали свои взоры из глубин провинции и десятки тысяч несправедливо «раскулаченных» середняков, и их защитник, автор «Тихого Дона», М. А. Шолохов, тоже ожидавший от Москвы спасительного вмешательства. Он писал как раз в июне 1929 года Е. Г. Левицкой о перегибах при хлебозаготовках, повторившихся и при коллективизации:

«Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают в Хоперском уезде у самого истого середняка, зачастую даже маломощного. Народ звереет, настроение подавленное... Я работал в жесткие годы, в 1921—1922 годах, на продразверстке. Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко

я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти, а вот таких делов даже тогда не слышал, чтобы делали» (Шолохов о просчетах во времена коллективизации// Московские иовости.— 1987.— 12 июня).

Платонов знает и любит Москву как сердце революции, как надежду всего мира. Он видит все победы страны социализма, бросившей вызов векам эксплуатации и угнетения. Москва — фабрика темпов, здесь рванулось вперед само время. Это город «высокого напряжеиия» — так назовет он свою пьесу об индустриализации. Великий дар справедливости никогда ие исчезал в Платонове. Но Платоиов почувствовал уже тогда, что Москва увеличивала, как пишет современный историк, «базу бюрократизма»: «Если в 1924 году благодаря нэпу в страие осталось лишь 11 наркоматов, а число управлений в ВСНХ сократилось с 56 до 16, то уже в 1939 году было 39 наркоматов... В дальнейшем число московских министерств и ведомств возросло до небывалых — до 100! — размеров» (Выродов И. База бюрократизма // Моск. правда.— 1987.— № 193)

Бюрократия в известной мере «побочный продукт» роста индустрии, ио продукт опасный. «*Часто:* не нам принадлежит этот аппарат, а мы приидлежим ему!!»[1]— с тревогой задумывался об этом давлении побочного продукта в 1922 году В. И. Ленин. Москва, прекрасное лицо которой искажается чиновничьими гримасами, новой социальной болезнью, будет то и дело возникать в сознании героев Платонова.

Свидетельством огромной веры писателя в созидательную мощь ленинской революции, певцом которой Платонов оставался всегда, высоты и зрелости его социально-философских позиций в борьбе с тем, что подменяло историческое творчество масс бюрократическим прожектерством, что формировало и тормозило все живое, стали его произведения конца 20-х и начала 30-х годов. Колокол тревоги, правда, не прозвучал в полную силу. Не прозвучали в свое время ни «Котлован», ни «Ювенильное море»,— эти «утоиувшие колокола»! — но как чист и верен их могучий звук сейчас... Благороден и сам образ Платонова: после несправедливейшей критики «Усомнившегося Макара» (1929), сделавшей его и знаменитым и опальным, он продолжал свой труд. Он пытался отменить несправедливый приговор, не соответствующий ни его субъективным намерениям, ни объективному смыслу произведений... Крик протеста против трагедии непонимания или даже злобного недопонимания очевиден и в «Котловане», и в «Ювенильном море». И ощутимо благороднейшее желание, о котором В. Маяковский сказал в те же годы: «Я хочу быть понят моей страной»... Причем у Платонова это стремление было безусловно еще острее: в нем ие присутствовало охлаждающее надежду на понимание допущение: «а не буду понят, что ж? Над родной страной пройду стороной, как проходит косой дождь»... Косым дождем Платонов себя никогда не чувствовал!

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 45.— С 441

* * *

...Первый этап борьбы с бюрократическим бездушием, выявивший противоречия эпохи и пытливой мысли Платонова (как и его оппонентов),— это, конечно, публикация рассказа «Усомнившийся Макар» (1929)

Был ли в чем виноват или только пристрастно обвинен рапповской критикой этот герой Платонова, скиталец, ходок за истиной? Как и другой его же герой из бедняцкой хроники «Впрок» (1931)? Нельзя избегать этих ключевых вопросов: точный ответ на них помогает восстановить подлинный образ Платонова. Пришло время окончательно развеять и тенденциозно создаваемый за рубежом стереотип Платонова. Там прежде всего сложилась традиция отторжения, выталкивания писателя из советской литературы как «человека не ко времени», «грустного писателя», «неисторического человека», выпавшего из литературного процесса и «погибшего» в не понимавшей его, да и не близкой ему эпохе. Он якобы создал некую герметичную художественную систему, «страну без соседей», где царствует его больной дух, раздираемый внутренней дисгармонией[1]

Что же случилось с «Усомнившимся Макаром»?

Автор книги «Неистовые ревнители» С. И. Шешуков еще в 1970 году попробовал задним числом, исходя из анализа социальной обстановки конца 20-х годов, объяснить «вину» Андрея Платонова и, естественно, «вину» его Макара, непросвещенного мужика, посланца «неученых» в среду «ученых». Он писал: «Время было напряженное, в стране началась коллективизация, шла ликвидация кулачества как класса. В этой обстановке Сталин расценил произведение А. Платонова с политической точки зрения и признал его вредным»[2]. Сказано как будто четко, даже огрубленно, но неясно: в чем же Андрей Платонов отстал от времени, разошелся с ним? В юношеские годы приветствуя план ГОЭЛРО, в зрелые годы строя маленькие электростанции, системы орошения, мечтая о полетах в космос в своей научной фантастике,— не отставал? А потом — отстал, «засиделся» в уже свернутом нэпе?

Достоверно оценка рассказа Сталиным неизвестна. Это позволяет некоторым критикам, особенно за рубежом, создавать произвольные версии, варианты и лжетолкования, говорить о некоем номере журнала «Октябрь» или «Красная новь» (но тогда речь идет о хронике «Впрок»!), якобы «ис-

---

[1] В наиболее «завершенном» виде этот взгляд проявился в предисловии к зарубежному изданию «Котлована» в 1973 году, где все действия платоновских героев оцениваются как прямое выражение философии абсурда: «Представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по масштабу». Бродский И. Котлован — Мичиган, 1973.— С. 4).

[2] Шешуков С. И. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов.— М., 1970.— С 245.

черканном» пером Сталина, о грозной резолюции, кончавшейся якобы словами... «и пусть это пойдет автору впрок» и т. п.. Безусловно лишь одно: были сказаны такие слова, именно сказаны в узком кругу руководителей РАППа («Октябрь» — орган РАППа, его единственный «толстый» литературный журнал.— *В. Ч.*): «двусмысленное произведение», «двусмысленный рассказ». Чрезвычайно точно улавливавшие явный и неявный смысл, нюансы всех сталинских оценок, претворявшие их затем в факт литературной политики, руководители РАППа Л. Авербах и А. А. Фадеев дословно, сейсмографически точно даже в частных письмах, повторили — не отклонившись ни разу ни в какую сторону! — именно мысль о двойственности смысла рассказа Платонова. Л. Авербах так и написал: «Рассказ Платонова — идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. **В нем есть двусмысленность... Но наше время не терпит двусмысленности»** (выделено нами.— *В. Ч.*)[1].

На мой взгляд, эти последние фразы в статье Л. Авербаха и являются наиболее точным, почти стенографическим воспроизведением устной оценки И. В. Сталина. А. А. Фадеев в письме Р. С. Землячке из дома отдыха в декабре 1929 года также настойчиво повторил только это слово «двусмысленный»: «...Меня ищут в РАППе, ищет Халатов (работник Гослитиздата.— *В. Ч.*), ищут мои редакции (в «Октябре» я прозевал недавно **идеологически двусмысленный** рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина,— рассказ анархистский»[2]...

В чем же «сомневается» и герой рассказа, и автор? Ради чего он, Макар, приехав в Москву, обходит какие-то присутствия, ночлежки, стройки?

Есть тесная взаимосвязь между очерками «Че-Че-О» (1928), написанными Платоновым и Бор. Пильняком после поездки в Воронеж в 1928 году, и рассказом «Усомнившийся Макар». Изучить «принципы бюрократической давки», повадки бюрократического суслика, который, попав на «паровоз, ведущий историю», зажмет тормозами колеса, найти средства спасения от «крапивного семени», которое в учреждении «делает власть за нас» (по выражению героя очерков рабочего Федора Федоровича),— такую задачу ставили авторы в очерках. В сущности, это же «проблемное поле» присутствует и в «Усомнившемся Макаре». Макар, замученный в родном селе бюрократом Львом Чумовым, хочет убедиться именно в Москве, что всякая «писчая стерва», суслики, поедающие рожь, еще могут быть побеждены. На «конфузном» платоновском языке Макар думает о власти: «Ничего себе властишка! — оценил Макар.— Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

Правда, многое и в Москве его тревожит, вселяет «сомнения»,

---

[1] Авербах Л. О целостных масштабах и частных Макарах// На литературном посту.— 1929.— Кн. 21—22.— С. 164.
[2] Фадеев А. А. Повесть нашей юности: Из писем и воспоминаний.— М., 1961.— С. 189—190.

он видит явное «баловство», то же самое, что Платонов и Пильняк отмечали в «Че-Че-О». Рост сферы начальствования, заседателей, кабинетных громовержцев всех видов и т. п. для самого Платонова, автора «Города Градова», был реальной опасностью омертвения, застоя, торможения: чиновничьи прожекты грозили подменить реальное историческое творчество масс. Макар Ганушкин даже почувствовал болезни наших дней: в людях при такой административной опеке постепенно развивается безынициативность, пассивность, бессмысленный страх перед казенной бумагой, резолюцией, перед «водотолчеей учреждений», своеобразное отчуждение друг от друга...

Макар придумал некую «кишку» для подачи бетона наверх, и его дважды вежливо выслушали в сферах, даже... заплатили дважды по рублю, но... Никто не подумал о внедрении его идеи. Опытнейший бюрократ Умрищев в «Ювенильном море» будет укрощать других, незрелых, с его точки зрения, людей, очередных Макаров, «сующихся» со своими идеями: «Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся.. Ступай и не суйся... Чем старина сама себя пережила: она не совалась!» Усомнившийся — именно в этой тормозной философии бюрократизма! — Макар, обходя канцелярии и стройки, беседуя в ночлежном доме в Москве с условным, символическим пролетариатом, первым из платоновских героев улавливает тревогу за гуманистические ценности революции, омертвляемые «писчей стервой», демагогами из контор, мастерами парадной бессмыслицы,— тревогу самой жизни:

«Нам сила не дорога, мы и по мелочам дома поставили, нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания, друг друга закону поручили. Даешь душу, раз ты изобретатель!»

Что подозрительного — двусмысленного или вредного — в этом монологе анонимного героя рассказа? Сейчас мы сказали бы — речь идет о человеческом факторе, великой движущей силе прогресса.

В рассказе, как и в последующих социальных утопиях, повестях-предупреждениях «Котлован» и «Ювенильное море», Платонов как будто зовет преодолеть тенденцию бюрократизации общества как «новую социальную болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей» («Че-Че-О»). Он осознанно кладет в основу рассказа и повестей ту, спорную, на наш взгляд, рабочую гипотезу, согласно которой «традиционное русское правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле» (из дневника героя рассказа «Размышления офицера», 1943). Но не будем сразу искать уязвимые стороны в этой рабочей гипотезе: Платонов их увидел раньше нас и раскрыл с потрясающим драматизмом уже в «Котловане» Он не побоялся довести до тупика, до катастрофического предела все виды стихийного, неподготовленного правдоискательства, мучительных прыжков через исторические обстоятельства. Не перенося действия своих повестей-

утопий ин в какие вымышленные миры, в условные «города солнца» и т. п., используя современнейший материал, уроки перегибов и «головокружений от успехов», подвергая сомнению даже свои юношеские технократические упования на «золотой век, сделанный из электричества», Платонов создает полуфантастические пространства, где испытывается, проверяется, часто в тупиковых вариантах, и стихийное правдоискательство и бюрократическое прожектерство. Как ни странно, но они часто переплетаются, сливаются!

Он предупреждает об опасности возникновения «человеческого разрыва», когда волюнтаристы всех мастей начинают двигать жизненный процесс» «на тяговых усилиях аппаратов и учреждений», забыв о «частном» Макаре. Тогда производство начальства, «руксостава» катастрофически опережает — увы, это почти оправдалось! — производство конечного продукта! Дай волю избаловавшимся мастерам командно-приказного стиля, и они так разграфят, расчертят «линиями», предписаниями всю жизнь, что.. «линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса». Эти видения рождались в сознании замечательного гуманиста, предвидевшего многие «перегибы», анонимную, безликую, унылую жестокость бюрократизма.

С глубокой иронией пишет Платонов в «Усомнившемся Макаре» о выдающемся в селе товарище Льве Чумовом, который «имел пустые руки» (принципиально ничего не умел делать), но «благодаря уму руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу». Как грустна улыбка, как неуловимо слиты в этой каверзной аттестации два понятия: «ум» и «руководил» Потому ли он «руководил», что «умен» или... и «умен», вернее, считается умным, потому что «руководит» и до тех пор, пока «руководит»?

Главный и положительный смысл сомнений Макара, тревог Платонова не был понят и принят, конечно, в те далекие годы. Журнал «На литературном посту», который, по замечанию В. А. Каверина, был «прошит ненавистью», «дышал угрозой», вечно был занят «лепкой врагов», с особым сладострастием представил как образец двусмысленности как раз то, что было в рассказе образцом мужества в борьбе с бюрократизмом, с опасностью жесткого централизма (сменившего демократический централизм), обожествлением указаний сверху, окрика вместо убеждения.

В одном из кошмарных снов — а сны — одна из форм реализации предвидений и гуманистических тревог, самореализация «тайной свободы»! — Макар увидел обобщенное воплощение бюрократической бесчувственности, предельного равнодушия к реальным судьбам, к уму и чувству людей. Он увидел гору и на ней изваяние... Словно тысячи Чумовых вымечтали истукана, этот сфинкс бюрократизма: «И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но

человек тот стоял и молчал, не видел горюющего Макара и думал лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре».

Вспышка критической брани, последовавшая в том же 1929 году, бросившая трагический отсвет на всю дальнейшую судьбу писателя,— маленькие болванчики бюрократизма не могли снести насмешек над своим кумиром! — сделала весь труд Платонова в 1929—1930 годах с его бесспорными победами как бы... ушедшим «под воду». Созданное, но неопубликованное, незримое, стало явно больше зримого...

* * *

В социально-утопической повести «Котлован» (1930) Андрей Платонов предстает сейчас как удивительный мастер жанра гуманистических «утопий-предупреждений», сложных «фантазий-тревог». Он владел особым «опережающим видением» при изображении послереволюционной действительности, способностью ускоренного испытания в настоящем моделей будущего. Редчайший дар! Не зная «Котлована», не зная, что в Платонове русский, неповторимый Герберт Уэллс, автор «Машины времени», уже жил среди нас, жил неузнанным, мы, по существу, не знали писателя А он... остро чувствовал и скорость истории, и возможность ошибок, утрат, он страстно хотел предупредить нас об очень многом.

Революция — локомотив истории, ее душа для Платонова — скорость преобразований... «Слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза» — так образно скажет Платонов о стремительности исторического процесса в романе «Чевенгур», который тоже оставался закрытым для читателя более пятидесяти лет. Почти гоголевское ощущение разрываемого движением воздуха! Оглядеться, уточнить свой путь, смысл деяний при такой скорости можно с помощью своеобразного испытания моделей, их создания и разрушения, с помощью особой «насмешливой игры», но полной глубокого сочувствия к «играющим».

Стремительное движение «локомотива» вызвало в многоукладной России невиданное смешение осознанных и стихийно-природных исканий, привело в движение огромное наследие преданий, легенд, стихийного правдоискательства. Это очень существенное обстоятельство, важное для понимания творчества Андрея Платонова в целом и «Котлована» в особенности. Мы уже говорили, что у него была своя версия, своя «рабочая гипотеза» истории и революции. «Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, в сияющее пространство» — так оценивал и в 1943 году историческую ситуацию, сложное наложение скоростей герой платоновского рассказа «Размышление офицера».

Еще раз повторяю, что можно спорить с этой платоновской рабочей гипотезой, с его «соединилось». Как и с известными строками Н. Клюева, тоже верившего в некий синтез большевизма и аввакумовского (и иного!) правдоискательства·

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах...

Правомерность соединения, а вернее, смешения различнейших нравственно-философских стихий — правдоискательства, мечтательства всех видов, своего рода «суеверий», еретических прожектов будущего «рая» — и точных исторических знаний, научного предвидения — вопрос проблематичный. Но совершенно бесспорно другое — и В. И. Ленин в 1922 году в статье «Успехи и трудности Советской власти» говорил о том, что «мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня... а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены...»[1].

Платонов сознательно шел навстречу такой «противоречивости», пестроте человеческой массы, ее крайностям в исканиях. Если дар поэта, как сказал С. Есенин, «ласкать и корябать», то он хотел именно «корябать», беспокоить читателя, а не заласкивать его до полного застоя мысли, до превращения всей отечественной истории только — что так удобно чиновному племени! — в «историю праздников». Платонов — это и показывает «Котлован» — оказался, в сущности, одним из немногих писателей, которые осознали многоукладную Русь как реальность, не отбросили, не обрубили эти, зачастую «сырые», патриархальные, спутанные правдоискательские мечтания, жившие в народе, не списали их как нелепый вариант жестко в отход, в отсев. Больше того. На своеобразной этической лестнице в «Котловане» Платонов поставил своих незрелых, зачастую «сырых» правдоискателей, страстных энтузиастов пролетарского Рая, героев, в которых новая «идея находилась в окружении житейских страстей», выше тех чистеньких, беспочвенных чиновников, которые глядели на мир мертвыми, «уныло-предвидящими глазами». У них нет «ошибок» только потому, что они сами... огромная непрерывная ошибка!

* * *

...В чем смысл фантастического строительства в «Котловане»? Как и в бедняцкой хронике «Впрок» (1931)?

Обе повести очень близки, и кстати говоря, именно в «Котловане» и разъясняется сложный смысл этого любимого платоновского слова «прок»... Заметим, что вообще необходим некий толковый, философско-

[1] Ленин В И Полн собр. соч.— Т. 38.— С. 54

этический словарик, чтобы понять совсем не житейский смысл многих слов-образов Платонова. Означает ли слово «порожний» только одно: «пустой»? Не совсем. «Где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком»,— скажет Платонов, или его герой. «Нечаянно» («мы сами живем нечаянно») означает не просто «внезапно», «случайно», но и предельно естественно, природно. Горше нет беды для человека, если «нечаянное» его оставит, если он весь будет спланирован, учтен, предсказан: это бездушный винтик. И наконец, «прок», «впрок»... Весь смысл строительства дома общепролетарского счастья для героев «Котлована» — в преодолении собственного эгоизма, обольщений личной выгоды, морали «после нас хоть потоп», в способности «строить любое здание в чужой прок». Это жизнь ради «дальних», а не одних «близких»!.. И как ни отвратителен в повести понукальщик, «чистильщик» масс Пашкин, с его нюхом на «неполноценность» почти всех, но его упрек в замедленности темпа («Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали»...) заставляет мастеровых Сафронова, Чиклина, кающихся интеллигентов Вощева и Прушевского согласиться даже с ним ради этого же «впрок»: «...скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства».

Ради будущего царства справедливости, ради счастья... И еще ради одного, о чем Платонов писал под впечатлением засухи в Поволжье еще в 1921 году как о главной и вполне осуществимой сейчас нужде человечества: «...о **смертельной нужде спеться людям** между собой и подняться на природу, на бессмысленное устройство земли». (Выделено нами.— *В. Ч.*)

Собственно, эти «спевшиеся люди», создавшие идеальное, на свой взгляд, содружество, непрерывно улучшающие его, но уже и подпавшие под власть казенщины, бюрократической заорганизованности, и предстали в «Котловане» перед духовным взором главного героя Вощева, истинного собрата Фомы Пухова из «Сокровенного человека». Тот же скиталец, погрустневший и измученный балагур и еретик...

Как же непросты эти «реальные и ирреальные» люди при демонстративной простоте, даже аскетизме житейских запросов, всего быта!

Мечтающие о безусловном счастье, они в то же время верят, что «одно горе делает душу человека». Жаждущие победить все былые неправды, в том числе неправду смерти, они порой машинально-бесчувственны в уничтожении, истреблении... Не желающие жить как тени, «благодаря одному рождению», жить, как однодневки, ни в чем себя навечно, «впрок» не запечатлевая, задыхаясь среди унаследованной от прошлого бессмыслицы, они в то же время раздавлены собственным бессилием, темнотой... И мечтают, как Вощев, в отчаянии: «Лучше бы я комаром родился: у него судьба быстротечна».

Пестрая, эклектичная масса, где жажда справедливости уже смешалась с навыками чинопочитания, с карьеризмом, где сила дружбы, умножающей «вещество существования» (а проще говоря, коллективную душу), спорит с навыками былого рабства и разобщенности. И надо сказать, что Платонов не скрывает печального обстоятельства: утопический мир, в котором оказывается Вощев, этот герой-скептик, искатель, пустившийся в путь за желанным планом общей жизни (как сказочный Иван-дурак за пером жар-птицы), сошедший в котлован (в «котел», в некую «мирскую чашу», говоря языком Пришвина), не несет ему моментального исцеления. В людях, встреченных здесь Вощевым — Сафронове, Чиклине, размашистом анархисте-инвалиде Жачеве, по-махновски вольно реквизирующем льготные пайки у бюрократа Пашкина («любой кодекс для меня слаб!» — говорит Жачев),— он угадывает множество скрытых, терзающих их тревог, мук, даже тоски. Им никто пути не осветил! На дороге, которой они идут, нет вех, нет следов, теряются даже... их следы...

«Все влечение и тоска встретились в рассудке» — так, на своем, нарочито рационализированном языке, говорит Платонов о причудливом состоянии этих своеобразных аргонавтов. Они страстно хотят «строить здание в чужой прок», им «прок», т. е. запас неведомого, практически запас бессмертия, создаваемый из вещества существования настоящего, «более необходим, чем ущерб»... Еще более им необходим новый человек. Где он? Среди себя они пока таковых не видят. И тот же безногий Жачев непрерывно атакует робкого Вощева и инженера Прушевского: «Живи храбрее — жми друг дружку, а деньги в кружку! Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей им далеко идти, вот чего мне жалко!»

* * *

Поистине страдный, трагически-тревожный путь!

Читатель «Котлована», видимо, не раз будет потрясен страстностью мечты о новом человеке, о смысле жизни, о счастье детей, заботами этих людей с измождеиными лицами о девочке Насте, внезапной «тоской» в монолитном будто бы молотобойце-медведе... Едва умерла эта девочка, хрупкий носитель еще непришедшего будущего, благая весть из него, будущий житель «дома счастья», как Вощев содрогнулся: «...стоял в недоумении над этим утихшим ребенком,— он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?»

Вероятно, не сразу может быть понята эта острейшая тоска. Конечно, она говорит о том, что счастье — не надличностная, не отвлеченно-планетарная, а потому анонимная сила. Оно всегда избирательно, человеч-

но, его нельзя вообще соорудить на «щепках». Совсем не безразличен для счастья и сам путь, который ведет к нему, и средства достижения «Рая»: может случиться, что во дворце счастья, если растерять на пути к нему душу, братство, если средства убьют цель, некому будет жить!

Собственно говоря, упреки Вощева, Жачева, Чиклина в адрес некоего условного «активиста», хозяйничавшего на Оргдворе, толкавшего людей на неоправданную жестокость, имеют все тот же антибюрократический накал «Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а **весь класс испил, сухая душа,** а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!» (Выделено нами.— *В. Ч.*)

Но есть еще одно объяснение, почему «скулит», а попросту воет медведь-молотобоец, почему Чиклин «хотел забыть свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла», почему Жачев после смерти этой девочки счел себя «уродом империализма» и уполз в бесконечное пространство... «Вещество памяти», «вещество существования», «работать над веществом существования», «переживать вещество существования»... По мысли Платонова, подлинное братство и содружество людей должно сделать человечество, союз всех поколений, единым не только духовно и нравственно, но как бы и физически: тогда ни болезням, ни смерти неоткуда будет «подобраться» к отдельному человеку, тогда всякая чужая боль будет разделена на всех и станет практически неощутимой. И страдания, смерть не найдут путей ни к кому!

Дело даже не в том, что Жачев не получает ответа на свой вопрос, навеянный, конечно, как и идея победы над смертью, темой «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова: «Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?» Этот вопрос, неутомимое собирание Вощевым ветхих вещей, внезапная тоска девочки Насти, тяга ее к могиле умершей матери («Я опять к маме хочу!»), и плот с отверженными душами, уплывший в океан,— все присутствует в фантастическом пространстве Платонова как неустраненные, лишь временно приглушенные, отодвинутые в сторону противоречия жизни.

Смерть Насти, чью боль и муки еще никто не мог **взять на себя,** которая, как и в былые века, оказалась одна, лицом к лицу, со смертью, убедила платоновских правдоискателей, что их «Рай» — сплошная иллюзия, что они еще совсем зыбко, непрочно соединены «веществом дружбы», «веществом существования»...

Тревоги Платонова действительно мучительны. Но можно ли молчать, если новый человек уже накладывает на себя парадные ограничения, попадает в недра механизма торможения, застоя? Если новые люди «спеваются» часто под сильным давлением догматических установок, собственных странных, почти суеверных представлений о равенстве и счастье, о семье и браке, о месте искусства и красоты? А сообщество, которое мыслится ими как пункт разрешения и «погашения» многих острейших гуманистических тяжб с историей, с прошлым, вдруг становится точкой возникновения новых тревог, нового «ущерба», новых опасностей?

Мучительны противоречия философско-художественной мысли Платонова. Может быть, он слишком верил — еще в «Усомнившемся Макаре» — в то, что легко удастся научить людей решать все вопросы на основе одной «душевности», проще говоря, морального совершенствования. Иллюзорно-счастливой была концовка «Макара»... Герой сказал некоему «высшему начальству», что «у нас ум накопился, дай нам власть над гнетущей писчей стервой»... Власть была ему дана, он сел в учреждении напротив Льва Чумового — тот уже перекочевал в город! — но скоро работа кончилась: герой научил народ решать все дела в уме «на базе сочувствия неимущим»... Если бы было все так просто!

Главное, основное у Платонова — в его заботе о сбережении высокой цели революции и моральности, благородстве средств ее достижения. Он предупреждает и нас о том, что растущий формализм засоряет мысль и чувство даже искренних и чистых людей каким-то чудовищным потоком пустословия, механических идиом из резолюций, приказов, «повесток дня». Сам человек, дело исчезают из поля зрения. Платонов искусно пародирует, изнемогая в тревоге, стиль мышления всей породы подьячих и стряпчих нового времени с их боязнью «перегибщины», «забеговшества», «переусердины» и всякого «сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии». Возможно, для многих современных читателей все эти понятия — «уклон», «сползание», «кулак», «подкулачник», «подголосок», «главная линия», «ослабел телом без идеологии», «много факторов степи», «жмущиеся к единоличию деревни», «классовое исхищрение» — нерасщепляемые словесные клише, деревянный язык, трафареты «пеньковой речи», в сущности, церковнославянизмы канцелярий. Но такой «русский» язык набирал силу в 30-е годы, и Платонов в этих произведениях упорно держался за него, словно предупреждая: это говорит притворяющийся разумом беспорядок, внешне «упорядочивший» себя!

Но этот пласт языка, канцелярская «новоречь»,— не единственный в прозе Платонова. Писатель, наделенный чудесным слухом на народную речь, умел находить словесные краски для тонкой передачи интимнейших сторон душевной жизни. Платоновское слово вбирает и как надежный инструмент передает самые различные интонации мятежной человеческой души, усиливая мысли. От озорства и нарочитого лицедейства Жачева до притворной грусти старушки Федератовны, которая в стиле плача «жалуется»: «Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отнимает меня Умрищев-злодей, уже смеркается сердце мое»... За платоновской улыбкой, иронической оценкой порой скрывается и серьезность народного здравого смысла, как в речи того же Умрищева, беседующего с той же Маврушей Федератовной о технократической, экологически бесчувственной дерзости Николая Вермо: «...Начнут из дневного света делать свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак? Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темны: они же чугунные, Мавруш!» Язык Платонова — это нехоженые дорожки в его необычную страну. Нельзя не согласиться

с С. П. Залыгиным, заметнвшим, что «Платонов обращается к какому-то изначально в нас присутствующему чувству языка, и это наше чувство, отодвинув в сторону свое словарно-энциклопедическое благополучие, принимает и понимает Платонова» (Из предисловия к публикации «Усомнившегося Макара» в «Лит. учебе».— 1987.— № 4).

* * *

Платонов писал «Котлован», а затем «Впрок» в тот сложный исторический период, когда молодое Советское государство распрощалось с нэпом, когда оно начало осуществлять грандиозные планы пересоздания страны, восхищавшие и Платонова, сохранившего, несмотря на горечь неоправданных обвинений, глубокую преданность идеалам юности, идеалам Октября. В опубликованной в «Новом мире» статье С. П. Залыгин проницательно отмечает одну, встревожившую уже тогда Платонова утрату: «Распрощавшись с нэпом, мы заодно распрощались и с вариантным мышлением и целиком сосредоточились на главном (и единственном) направлении — на задаче индустриализации и коллективизации страны любой ценой». Для сложного этого периода было характерно одно, социальное и моральное, обязательство: «Нам в то время не усложнение действительности нужно было, а ее упрощение, полная ее очевидность, полная безвариантность... любой уклон — это деяние антиобщественное, антигосударственное, антисоветское. Отсюда и «любая цена» во всем, и жертвенность, которую мы тогда проявили, и категоричность суждений».

Но даже сознательно принимая необходимость самоограничения в условиях непосредственной угрозы войны (Платонов — автор антифашистских произведений «Мусорный ветер» (1933) и «По небу полуночи» (1940), писатель сумел представить в своей прозе множество вариантов человеческих судеб, дерзких мечтаний. Он первым отметил, что «безвариантность», удобная во все времена одной бюрократии, несет с собой и безгласность, и фасадное единомыслие, и опасности оказенивания, формализации народной инициативы, бюрократического «благополучия» как суррогата счастья. Приглушенные «варианты» мечтаний об индивидуальном счастье буквально вырываются в «Котловане», в «Ювенильном море» наружу из-под кровли единого, нстово созидаемого, планетарного дома счастья.

В чем состоит «вариант» человеческого счастья для Жачева?

Этот многократно возникающий, как бы выпадающий из эпохи военного коммунизма инвалид на тележке то неистово изобличает всех, кто не умеет жить храбро, то плачет «громадными слезами от жалости» к буржуйской девочке Насте, а в сущности, сражается со всеми, кто может

[1] Залыгин С. П. Поворот.// Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 7.

«испортить нашу республику». «Где же ты, самая пущая стерва? Иди, дорогая, получить от увечного воина!» — восклицает он. «Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!» — с мукой бессилия говорит он. Жачев то и дело перманентно «раскулачивает», стрижет бюрократа Пашкина, унося из его дома то бутылки со сливками, то иные продукты. Все попытки Пашкина и его жены развратить Жачева («Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен...») наталкиваются на яростный протест... Но как иначе, более эффективно тратить свободу? Этого Жачев, в сущности, так и не знает. Его «рай» — это отчасти и тупик, упразднение истории.

Для Сафронова, жаждущего всех несознательных бросить в «рассол социализма», единственной энергией, обеспечивающей движение вперед, обеспечивающей «крепость рассола», является непрерывное обострение борьбы, умножение схваток, драм очищения. Иначе, без обострения, все «ослабнут», как Козлов, лезущий в бюрократию. Жачеву нужен новый общепролетарский дом, чтобы скорее старый «город сжечь», а Сафронову он нужен как своеобразное преодоление одиночества, победа над скучным «неперестроенным» пространством. А потому — копать, копать, «добыть истину из земного праха»... Но и Сафронова посещает тревога. Не рискованное ли дело они затеяли?

Еще сложнее и драматичнее нравственная ситуация, «варианты» надежд в двух различных, но внутренне взаимосвязанных персонажах «Котлована»: рабочем Чиклине и инженере Прушевском. Прошлое, догадывается Прушевский, как бы задумало и роднило их «двоешками», оно вселило в них одинаковую, до поры скрытую «слабость»: неизбывную потребность в красоте и нежности окружающего мира — в чуде женской красоты, в заботе, обращенной к детству («дети — это время, созревающее в свежем теле»).

В этих-то «перебоях», «диссонансах», в скрытой двойственности любого тезиса, внутренней диалогичности любого монолога Платонова, в «неразрешенности» до ясного конца всех решений и не окончательности любых вариантов — выражение исключительной внутренней свободы писателя, свободы от всех «тупиков», куда порой заходят его герои. Он в каждом из героев, во всех «крайностях» их мечтаний и деяний, но он и вне их! Он как музыка, которая однажды «подошла к бараку» и убедила всех в своей безграничности, невключенности ни в какой ряд, неподвластности никакой узкой нормативности: «Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности».

* * *

...Еще более «вариантны» повести «Впрок» (1931) и «Ювенильное море» (1934).

Платонов, автор повести «Впрок»,— «единственный, пожалуй, писатель, который уже в момент массовой, «сплошной», как говорили тогда, коллективизации, в дни, когда многие горячие головы нередко упивались цифрами поголовного приобщения жителей сел к новой жизни, очаровывали других и себя магией больших чисел (в том числе и при раскулачивании), вдруг призвал не к спешке, а к трезвой, разумной оценке всего, в том числе последствий «перелома». Успешность поголовного обобществления, легкость и безответственность манипуляций с миллионами судеб, голое администрирование, игра сводками и показухой... Не будет ли возведено все это в образец? Причем — в единственный образец деловитости, исполнительства?

Но как это было всегда, создавая «Впрок», Платонов, искреннейший и совестливейший писатель, обуреваемый общечеловеческими заботами, вновь не подумал о собственной уязвимости. Сочетание в повести реального и фантастического, безусловного и невероятного столь удивительно, что автор — а его восприняли тогда как заурядного иллюстратора, хроникера событий коллективизации ...и карикатуриста! — оказался совершенно беззащитным перед множеством обвинителей. Если «Впрок» — хроника (частично это так — в ней много «конкретики», картин обобществления земли, скота, создания МТС, упоминается статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» и т. п.), то как понять обилие всяческих фантасмагорий? Вроде рефлектора в колхозе «Доброе начало», названного «колхозным солнцем», призванного не позволить «скучиваться в настроениях колебанию, невежеству, сомнению»? Или театрализованное превращение «бога», одетого в рядно, босого и торжественного старика с сиянием «вокруг косматых головных волос», в обычного кузнеца?

Не менее фантастично и сновидение «главаря района сплошной коллективизации» Упоева, перелетевшего во сне, как гоголевский кузнец Вакула, в Москву, в кабинет Ленина: «Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали».

Платонов явно, создавая «Впрок», не заботился о чистоте жанра, о сюжете — повесть причудливо рассыпается на серию эпизодов. Указующий перст писателя не спрятан, он управляет всем... Вот колхоз Кучума, на пороге которого «томятся непринятые единоличники», вот коммуна Упоева, вот «Доброе начало», где властвует красноармеец Кондров, вот радения воинствующего безбожника Шекотулова, который действует командой, приказом («немедленно прекратить религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной револю-

ции!»). Вот великий человек Пашка, «выросший из мелкого дурака», который выступает против... идеи бесконечности вселенной как буржуазной идеологии: «буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата»... И наконец, перст писателя указует на гримасы собственнических страстей: вот «смышленый» кулак Верещагин, преодолевая мужицкую жалость к лошади, ради получения страховки «обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее».

Какой смысл имеет все это, плохо скрепленное, нагромождение эпизодов, сцен, странных ситуаций, внешне наспех, «кустарно» сочиненных философствований, видений? И всегда Платонов как бы намеренно «топит» острейшие жизненно-философские умозаключения в каком-то нейтральном, остужающем плакатное чисто технических рассуждений о мелиорации, о сгоревшей проводке или составе почв... Он добавляет «азота» в слишком кислородную, напряженную атмосферу!

Но острота проблематики от таких «торможений» не смягчается. Как же относится к этим, во многом непредсказуемым, фантастическим чудаческим деяниям сырой, патриархальной массы и столь же «сырых» руководителей, вышедших из ее рядов, сам Платонов? Ничего из свершающегося «в марте 1930 года» не перенесено ни в будущее, ни в прошлое, что делает обычно традиционная утопия, но всему реальному, только явившемуся на свет Платонов придает такую «скорость» роста, развития, что... В его «колхозах», «коммунах» сразу проявилось все — и хорошее, и негативное,— что будет раскрываться в течение десятилетий: и волюнтаризм микровождей, ломавших через колено даже трудовые традиции и навыки, веками воспитанные в крестьянстве, и упоение раздутой отчетностью, парадностью («сделай мне сводку»), и опасность уравниловки, кичливости людей в показушных хозяйствах («колхозные девицы были самыми модными барышнями... точно социалистические парижанки среди феодального строя»).

Хроника «Впрок» — это не иллюстрация и не карикатура, а скорее всего, повесть-гротеск, повесть-предупреждение, повесть-тревога Платонов не против самой высокой скорости в процессе преобразований, но только в том случае, если эта скорость захватит и весь крестьянский люд, и тех, кто пишет «особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п. Он, безусловно, согласен с тем же Кондровым, который называет таких директивщиков хвастунами, жаждущими самоутвердиться и прославиться («я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!»). «Душевный бедняк» из повести «Впрок», ремонтирующий «колхозное солнце», видит величайшую правоту, превосходство, чистоту и неистощенную скептицизмом силу новых людей. Прочитав бумажную рукопись, прибитую гвоздями, о назначении колхозного солнца, герой повести думает о своей участи:

«Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком

явлении что-то трогательиое н смешное, но это была трогательная иеуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ироиия гибели. Если бы таких обстоятельств ие встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзои для обезьяны; иам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единствеиное имущество которого сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого».

* * *

Словесное искусство Платонова в зти трудные для него годы сочетало в себе н сарказм, и романтическое мировосприятне, тревогу и сострадание... Даже жалость к тому же Умрищеву в «Ювенильном море» — вначале жнвому воплощению духа бюрократизма, начетчику, затем почти очеловечившемуся — знает он. И наоборот, в пламенном знтузиасте электричества, готовом прожечь землю вольтовой дугой, инженере Николае Эдвардовнче Вермо (не уводит ли нас зто имя к К. Э. Циолковскому и В. И. Вернадскому?) проявляются порой черты одномерного технократа, «зкологически» и душевно слепого спеца. «Да остановись ты думать хоть ради человеката»,— говорит ему однажды старушка Федератовна.

Секрет постоянной платоновской двойственности, особой, как бы «плавающей» в пространстве точки зрения, ироничностн, сопровождающей переходы друг в друга противоположностей,— сейчас модно изазывать это, после М. М. Бахтина, «амбивалентностью»! — прежде всего в том, что он все время нсследует как бы «стратосферу» человеческой души, самые сложные (вершинные нли глубинные) нравственные и зтические решения. Мы сегодня так привыклн к прозе, где событие и жизнь как бы наспех «законспектированы», а не воссозданы, не превращены в духовный космос, что нам трудна платоновская сгущенность мысли и необыденность формы. Но ведь стратосферические слои требуют особых приемов, сложного сочетания «высокого» и «низкого», неожиданного помещения точки зрения писателя не вне «схватки», вне «борения» сил, не в ней даже, а... Платонов многие конфликты времени разыгрывал **в себе самом**, в нем дрались, как он говорил, «оборванные диалектнческие сущности». Дрались честно, на аршнне пространства, обретая форму символа, условного знака, не позволяя любимым идеям писателя — скажем, его высокой мечте о «море юности» — утонуть в частностях, мелочных описаниях. Читатель, добравшийся до стратосферы Платонова, до его высот, не пожалеет об этом.

Он узна́ет об удивительном взлете платоновского поэтического сознания в головокружительную «голубую глубину» с тяжелым грузом земных же впечатлений.

«Земные сны» Андрея Платонова вознесены в этой его прозе на огромную вселеискую высоту гуманистических тревог, забот о человеке и

человечестве. Жизнь предстала в этой утопии планетой, где смешаны в причудливых композициях и романтические порывы пересотворить, соперничая с богом, все бытие, и отчаяние от неудач, и мощь, и бессилие, и глубокие заблуждения, и истина. Земные сны о золотом веке, о будущем для людей сверкают каким-то тревожным огнем, предупреждая о необходимости при любой скорости выверять и направление пути, и средства достижения цели... Это безумно тяжело людям — ведь они часто еще неизвестны сами себе! — но именно «люди, а не боги смотреть назначены вперед»...

Виктор ЧАЛМАЕВ

сокровенный человек[1]

1

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания.— Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч — путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут!

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно, начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу,— и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы! — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развертывалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в шестнадцать часов, а сейчас часов двенадцать — еще можно поспаться,

[1] Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф Е. Пухову и тов Тольскому, комиссару новороссийского десанта в тыл Врангеля *(Примеч автора.)*

что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пение вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

— Глаша! — Жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего,— ответит, бывало, Фома Егорыч,— это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вот они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь: до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но отчего — он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

«Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях — впереди каждого воинско-

го состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной Армии.

Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин.
Комиссар путей сообщения Ю.-В. ж. д. Дубанин».

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту.— Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит,— ответил машинист.— Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунку казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов.— А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз — и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, прилипая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Пошуруй топку и просифонь, чтоб баланец[1] загремел,— тогда возьмем!

[1] Баланс — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле. *(Примеч автора.)*

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что́ делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего — а? — ответил Пухов.— Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запушенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер,— предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью,— уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос.— А то выпей — согреешься! Хочешь, рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос.— Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко,— а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос.— Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилось и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманью два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос.— Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепу-

ховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына в Лисок,— а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая щит то вниз, то вверх,— и забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов.— Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок пассажир.— Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов.— Сельдь бы он покушал! Будто без него съесть ее некому!

— А я,— встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный,— на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел — жирён был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один и был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел,— мужики часто ходят,— и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира.— Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру.

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту,— сказал сведущий Пухов.— Слезай, пока на подъем прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит,— жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов.— Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов. — Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться, — а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведший головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабевшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не гля-

дя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление,— и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу.

Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что,— обратился он к Пухову,— как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов.— Помощник только твой убился, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно,— сказал машинист.— Положи-ка мне хлебца на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд человек пятнадцать.

Никто из них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем,— успокоил Зворычный.— Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь,— согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными глазами.— Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о? — захрипел офицер.— Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов.— Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневого поезда и обернулся, подождав стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверно, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд.— Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы,— и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженей на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня.

Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

> В рабочие руки мы книги возьмем,
> Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — закричал Пухов.— Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии.— Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!

— Вот это сурьезно! — расценивал Пухов.— Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелоном? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир — один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается,— полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже стояла красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью — сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком,— все едино — лупить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники.— Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники.— Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю.— Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов.— Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета-IX на всех ж.-д. узловых станциях. Условия службы узнайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному.— Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегоочистке делать нечего — весна уж в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов.— Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!..

Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, што делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный.— Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов.— Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю,— не поддавался Зворычный,— мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов.— Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный.— Кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете,— вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать,— чувство-то понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов.— В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему ж такое? — спрашивали его мастеровые люди.— Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов.— Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела,

и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов.— Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов.— Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор.— Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии.— Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжельше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.

— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар,— ответил Пухов, чтобы

выдержать экзамен,— и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера,— объяснял Пухов,— а наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная Армия все может! — отвечали Пухову матросы.— Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов.— А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной,— рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна,— я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь провода какие-то, медяшки... путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует, дует и дует,— что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

– Если ты завтра не пустишь машину, я тебя в море без корабля пущу, копуша, черт!

— Ладио, я пущу эту сволочь, только в море остаиовлю, когда ты иа корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюгаи! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, ио сообразил, что без механика — плохая войиа.

Всю иочь бился Пухов. Передумал заиово всю затею этой машииы, переделал ее по своему пониманию на какую-то иовую машииу, удалил зазориые части и поставил простые — и к утру мотор бешеио запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор виит потяиул, ио тяжело задышал.

— Ишь,— сказал Пухов,— как черт на Афои взбирается!

Дием пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машииу? — спрашивает.

— А ты думал, не пущу? — ответил Пухов.— Это только вы из-под Екатериподара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз иадо!

— Ну, ладио, ладио,— сказал довольиый комиссар.— Зиай, что керосииу у иас мало — береги!

— Мие его ие пить — сколько есть, столько будет! — положительио заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, кероснн топит, вода охлаждает!

— А ты иорови керосииу помеиьше, а воды побольше,— сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов ие мог остаиовиться и радостно закатывался.

— Тебе бы ие советскую власть, а всю природу учреждать иадо,— ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоиоша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв иекую виутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего оии людей шуруют? — думал Пухов.— Какая такая гроза от этих шутов? Оии и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклееиы бумаги «Вследствие тяжелой медициискои усталости ораторов, никаких митингов иа этой неделе ие будет».

«Теперь иам скучио будет»,— скорбел, читая, Пухов

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробоииу заклепывали и якориую лебедку

чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов.— Я же вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемаля-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел,— говорил он красноармейцам,— что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъясняли красноармейцы.— Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался.

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов,— обратился командир отряда,— вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал в сторонке.

Стояла ночь — огромная тьма,— и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой,— его враз угомонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выдержал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о

смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским,— вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того: я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко — пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись,— ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело,— думал он,— вот она, большевистская война,— нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо советской власти,— вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад,— вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми,— без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире, которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек,— и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч,— мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов,— хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов подошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ комиссар, назначить меня механиком на «Шаню»,— там, я слыхал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» там есть свой механик — турок! — сказал комиссар.— Ну, ладно: мы тебя в помощники назна-

чим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не сладишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина,— сами видите!

— Ну, ладно — согласился комиссар,— поедешь на «Шане»,— раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню» — машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо,— хорошо по-русски сказал турок,— масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, тот есть механик!

— Ну понятно,— обрадовался Пухов,— машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь,— тихо ответил красноармеец Баронов,— затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда

одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей,— и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — военморов.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней — не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем,— и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море,— он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отдалилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда,— и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме,— все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тнхом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовалн тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдали — в открытом море — уже шевелнлись грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громнл огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачнвал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на мнг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста захолодало, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезлн на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшнсь, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлнлн как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло,— он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, снлясь выхватить море нз его глубокой обители.

«Марс» н нстребнтель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял,— кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуще, а то враз запорешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромощу!

Часа через полтора «Шаня» проскочил Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым, изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо,— сказал комиссар.— Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так,— объяснил комиссар.— Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали? — допытывался Пухов.

— Ого? Вся атмосфера тряслась, какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море по-прежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взял курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь потом у бесившейся машины и стращая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы отхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались — как и что, а тоже высыпали на палубу и заметались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения,— их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели,— наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холо-

дом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, когда узнали, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец.— Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар.— У него пушки на борту!

— А вот увидишь,— заявил тамбовец,— из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажили глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал голоса и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара.— Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должио быть, течь у иих,— ответил комиссар,— иадо как-иибудь помочь!

Красиоармейцев в трюме было ие удержать. Оии стояли иа палубе и тоже что-то кричали иа «Марс», позоря испуг иесчастиых.

Вся «Шаия» терзалась за отряд и комаиду «Марса»; комаидир в бешеистве кричал иа капитаиа, комиссар тоже ему помогал, а капитаи иикак ие мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаию» подшвыриуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машиииом отделеиии.

Еще послышалась с «Марса» гармоиика — кто-то там иаигрывал перед смертью, пугая все закоиы человеческого естества.

Пухов это как раз явствеиио услышал и чему-то обрадовался в такой иеурочиый час.

В затихшую секуиду, когда «Марс» подскочил к «Шаие», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошией гармоиике:

Мое яблочко
Несоленое,
В море Черное
Уроненное...

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека иа «Марсе» и плюиул от бессильиого сочувствия.

— Спускай лодку! — крикиул капитаи, потому что «Марс» торчал одиой палубой, а корпус его уже утоиул.

Лодка, еле опущеииая иа воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ией исчезли иевидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швыриул его так, что ои очутился иад «Шаней».

— Сигай вииз! — заорал усердией всех Пухов.

Люди иа «Марсе» вздрогиули, помертвели до чериоты лица и бросились как попало вииз — иа палубу «Шани». Падая на «Шаию», оии валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с иог. Это ему ие поиравилось.

— Легче! — шумел он.— На Врангеля шли, черти, а чистой воды боятся!

Через несколько секуид весь «Марс» сгрузился на «Шаию», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куда там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось,— никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук — и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит,— посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск,— говорил командир разведки матрос Шариков,— а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же,— все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл,— сказал ему военный комиссар,— что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал,— тоже, должно, купается,— а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков.— Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось по-прежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то? — урезонивал их Пухов.— Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего,— говорил недовольный матрос Шариков,— вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты — рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции? — совестил его Шариков.— Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков,— объяснил Пухов,— да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков.— Я вот родился до революции,— и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар.— Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец.— Тут бы Врангеля и крыть в зад,— ведь он на корабли бежит, а тут — отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!..— начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов.— Пускай Врангель плывет, другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!..— крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив! — посоветовал ему Пухов.— Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то,— сказал было Шариков, но потом одумался: — Вода только холодна, да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погодку! — рассказывал Пухов.— А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков.— На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора,— одними идеями одеваемся, а порток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов.— Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар.— Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов.— Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар.— Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю,— согласился Пухов.— Там — задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

— А то кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать-то мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов.— А мастерство — нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать
Провожа-ала,
На дорогу сухих корок
Собира-ала!..

— Вот дьяволы! — заявил Пухов.— В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила но-

вороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин,— и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «Ввиду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию «Всемирный Совет» болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный Всадник» пустить в ход можно сразу, если сменить им размозженные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немыслимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов.— А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченой земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удивле-

ние. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханьем землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал полежалый сюртук скуки и надлежаще копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальству не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске,— и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев

и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности,— Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню,— отвечал Пухов,— в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти,— я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели,— разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят,— не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс,— советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо,— рассуждал Пухов,— а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю,— только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? — разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжко вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл ему Пухов.— А для умственной работы ряжка толста.— Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов.— Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спускает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков.— Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время — октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков.— Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему

командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще,— обиделся Пухов.— Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь.— Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно! — ответил на прощанье Шариков и написал на хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

4

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало — почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облегая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия,— и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почем там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия Креста? Матросы говорили, что видели? — допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету,— там дюже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов.— Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел,— может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножиков нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну, как, не пахнет? — спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько! — говорил Пухов.— Да тут не дознаешься: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он понимал, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не вгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это,

любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой.— Плывешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы,— а скучно!

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожои не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всему напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то пели петухи — в четыре часа пополудни,— один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале.

В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пущи! — нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то старинное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню. — Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу — там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили, — вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумел, как вода, и Пухов почувствовал себя безродным... заблудившимся человеком.

Механик или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо. — Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не

сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека.— Едет, и мы с ним.

5

Всю ночь шел поезд,— гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дия. Солице подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровиой радостью и звеиело высоким напряжениым тоиом.

По полю изредка и вразброд стояли худые смирные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголениые перед смертью,— чтобы зря не пропадала их одежда.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночиой тьмы. Но — предварнтельио — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семеиа.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобреиия, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупо и прочио заготовляет впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни иа губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездиого состава неизвестного назначения проснулись на заре,— от холода н потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал н вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и уставился в пустую позднюю природу. Там лнковал прохладный свет низкого солнца н беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утреиика. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны н привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием н крепко выразился обо всем:

— Гумаиио!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня.— Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь,— ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок.— Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты ие обозиался — ты погляди на меия! — обратил на себя виимание Пухов.

— Зачем обозиаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъясиил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост,— и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно,— ответил мужик.— Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Этот город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста угомонили!

— А тут — не знаешь, товарищ,— меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший порожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ «МАК-КОРМИК».
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО «САМОЛЕТ».
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ «ИОХИМ и К°».
ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ ГЕЙЛЬМАН
и С — я,—

и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за уго́льным домом.

Прибывший поезд оставил в Пахаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Ты что? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — всё видели и вынесли паровозы, а теперь залегли

в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер!.. — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар.— Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали!

— Ничего,— где-нибудь замыкание. Это оборудуют ско-

ро! — решил Зворычный.— У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина бóльшая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А, ну, я не знал! — смутился Афонин.— Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный.— Ну, чем помочь? Брехать только! Хлеба ему дать — так нам самим пайки в урез дают,— даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке, Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство — можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов,— я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч,— кормимся спрохвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов.— Почва есть, а хлеба нету, значит,— дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный.— А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов.— Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою,— пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов.— Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так,— революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей — хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный.— Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — и покуривал натощак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез,— сообразил Пухов.— Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отрава, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут,— а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя нахлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записался!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нет! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай — все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь.— Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему.— Паек берешь — паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Прожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Что ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтобы еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все сижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, говорит, безвременно прибыл? Я ему — проголодался, говорю, и уголь весь погорел. Он — мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушь противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов.— По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит — молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал — спрашивает — противника? А я ему: нет там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел.— Не может,— говорит,— быть! — Ну вот — опять же — не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменять в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухла.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о

тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю,— не согласился Пухов,— твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный.— Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим,— вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов.— Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный.— Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

7

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь,— и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют,— сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету — какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный — когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пущают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рощу — там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос пострелнвал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издалека била по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный

брак на путях. Мастеровых от белых отделяла речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов.— Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у стаициоиного домика.

— Живот заболел — часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых — не зиаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Оиа иа том коице города кавалерию сдерживает. Это геиерал Любославский иаскочил — у него коииицы — тьма.

— А чего ж мы раиьше ничего ие зиали?

— Как ие знали? Это, брат, конница — сегодия она у иас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой.— Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ии в кого ие попадаем. Ихний броиевик давно прицел нашел — и крошит нас помалеиьку.

— Что же будешь делать-то: иадо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чушь какая: смерть ие защита! — окончательио выясиил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, остаиавливаясь иа лету, со злобой рвала себя иа куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повериувшись с живота навзничь, замирали иавсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научиое воскресение мертвых, казалось, ие имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли ие иавсегда, а лишь иа долгое, глухое время.

Пухову это иадоело. Ои ие верил, что если умрешь, то жизиь возвратится с процеитами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что иыиче иадо победить как раз рабочим, потому что оии делают паровозы и другие научиые предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; иад рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая виимаиия иа войиу, и собирал махорочиую пыль по кармаиам. Пухов выжидал, пока ои ее соберет, чтобы тоже попросить на цигарку.

— Ни саиитаров, ии докторов у нас иет, ии лекарства — липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя иа одного раиеного, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грязную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков приник к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей...— сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели влеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять,— кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию — пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончил Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага,— вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов.— А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин.— Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды попрежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженый балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет,— куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим — и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где,— вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут,— никак не соглашался Зворычный.— Броневик на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост...

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня,— думал Афонин,— наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну как, десять груженых платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточках, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такою скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновенье в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух,

остался только рельс у головы. Сознание все больше средоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проникало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых.— Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество Века мы мучаем друг друга,— значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего потом матроса, обменявшего свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

8

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правила движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный.— У тебя всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо.

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война — это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали.

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный.— Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского,— а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их, не знаю, что ль? Это — люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно угомонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант

против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но у Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов.— Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: перекрошил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все: про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

«Адресату морскому матросу Шарикову.
В Баку — на Каспийскую флотилию».

Целую ночь он отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник.— У тебя простое письмо!

— Из ящиков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник.— Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы,— ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секре-

гарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить,— я и из книг все узнаю! — разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее,— писал Шариков,— на нефтяных присках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан,— что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осчастливленный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

9

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, нá тебе талон на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта!

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову.— А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие,— ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался,— подумал Пухов.— Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель,— перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: тогда социальная идеология была не развита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На́, черт! Если спекульнешь — на волю пущу! Пролетариат — честный предмет! — И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? Наши, мы их сделали. Что такое природа? Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал

у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие: кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,— нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.

че-че-о[1]

(областные организационно-философские очерки)

Пишут, что хорошо выезжать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунешься, во-первых, в травяную русскую природу, отдыхая душой, а во-вторых, в советские массы, в строительство. Хотя писатели и пишут всегда о том, чего с них не спрашивают, тем не менее слово печатное уважать надо: и мы поехали в город Воронеж на предмет изучения бюрократизма ЦЧО и ознакомления с массами, поселились за тремя окошками с палисадником и с цветами на подоконниках, известными от детства и с детства не имеющими имени. На окне у нашего хозяина, кроме цветов, помещался еще всесоюзный дьячок, как называют здесь радио за хрипоту его и поучительность. Хозяин наш Федор Федорович каждое утро уходил к себе в железнодорожные мастерские, а мы изучали, взяв предпочтительно в поле зрения нашего людей, а не учреждения, дабы не быть оглушенными гулом мероприятий, придерживаясь, при изучении материала, статистических принципов.

Надо объяснить заглавие организационно-философских наших очерков. Были мы, изучали мы в ЦЧО, в Центрально-Черноземной области, вновь организующейся. Це-Че-О по воронежскому говору выговорить трудно,— говорят ЧЕ-ЧЕ-О.

Город и историю его мы изучали пешком. Все вывески, где раньше было «губ», теперь перекрашены на «обл».

А пешком мы ходили по следующей причине. Трамваев в городе штук одиннадцать примерно, на три городских маршрута. У посадок в трамвай всегда суетятся, сесть все не успевают, а трамваи ходят полупустыми. Трамваи — совершенно как в Москве, только разница в букве В: ВКХ — вместо МКХ. На одиннадцать трамваев имеется двадцать семь человек контролеров — девять человек от ГЖД, остальные от горсовета и прочих учреждений. В каждом вагоне едет не менее двух контролеров, кондуктор — обязательно — милиционер, как бесплатное приложение контролеру и кондуктору, управляющееся, в благодарность за провоз, со злостным пассажиром. Предпочитали мы ходить

[1] Написано в соавторстве с Бор Пильняком.

пешком не потому, что не испытывали затруднений от воронежских концов, где массы населения перебрасываются трамваями, но потому, что твердо установили, что со стороны ГЖД, Горсовета, Адмотдела и прочих организаций предпринято, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватыми экономическими последствиями, то есть приводами в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Мы рассчитали статистически: московские трамвайные порядки усвоены Воронежем в кровь, но жителей в Москве больше в двадцать пять раз, трамваев — в сто раз,— и воронежцам осталось только трамвайно-административная энергия в количественном московском масштабе: число ежедневно-трамвайно-наказуемых в Воронеже равно московскому числу,— и очень редко поэтому можно проехать в воронежском трамвае, недополучив к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо протокола, либо нравственного оскорбления.

Мы уже приступили к исследованию основной нашей темы о бюрократизме «Наши не хуже ваших».

Этим и объясняются свалки на остановках: кроме трамвайного надзора за собою, туземное население, полюбив административное благочинне, само помогает контролерам вылавливать трамвайных вредителей и добровольно устраивает давки на остановках, стоя на страже трамвайной законности.

Изучая принципы бюрократической давки, установили мы новую, раньше не бывшую здесь особенность — носить мужчинам бакенбарды. Бакенбард в Воронеже много, и все они с портфелями. Причина возникновения бакенбард необъяснима, но вид их очень напряжен. Федор Федорович, рабочий-ветеран железнодорожных мастерских, философ и наш хозяин сказывал нам, будто в газете было воззвание Облсовета Физкультуры: «За советскую бакенбарду! Опрятная наружность есть символ идеологической устойчивости! Физкультурник, будь впереди! За новую наружность! За нового человека!»

Было ли такое воззвание или не было — это на совести Федора Федоровича,— Федор Федорович любит говорить иносказательно. Мы же, при нашем изучении, обследуя газеты, ничего такого там не нашли. Нашли лишь снимки будущего здания облисполкома, будущего облпрофсовета и прочих будущих емких помещений. Мы рассматривали внимательно фотографии: нет ли в будущих камнях будущей областной архитектурной стойкости либо отпечатков будущего ума и организационного умения? Затем в газете

напечатаны были портреты туземно-областных вождей, карта нашей области и заметка об аржанской фабрике грубых сукон, расположенной в Тамбовской губернии и напечатанной исключительно ради областных масштабов. Больше ничего туземного в газете не было. Отмечалось подробно выступление тов. Терентьева в споре с архиереем. Тов. Терентьев выполнял в областном масштабе то, что тов. Ярославский делает во всесоюзном, а тов. Вольтер делал во всемирном. В остальном газета следовала Вольтеру, занимаясь всемирно-историческими вопросами, давая искренние советы французам, англичанам и китайцам и сожалея, что впредь бывшие ее советы не приняты впрок этими странами. Судя по карте области, напечатанной в газете, область эта, по поводу которой в газете отмечены будущие здания и спор с архиереем,— размером много больше, чем Британские острова.

Федор Федорович, иносказательный человек, молвил однажды:

— Как вы думаете, приезжие люди, как надо устроить, чтобы на месте, где два колоса растут, три выросли бы? Ну и как поступать, ежели колосьев по-прежнему два?

Мы бросили внешнее изучение облгорода, потому что первым делом мы видели всегдашнюю воронежскую пыль, переулки, свиней — обыкновенное среднерусское устройство оседлости,— и дома стояли совершенно так же, как и в губернском отношении. На подоконниках цвели герани. Бакенбарды возвращались со службы, обедали и возвращались на службу, на вечерние заседания, а после них ели на бульваре мороженое у отходников из воронежских деревень. Книжная воронежская история интересовала нас мало, по причинам нашего уважения к предмету и краткости пребывания, хотя самой истории в городе мало. Отметим лишь странное обстоятельство этого черноземного города — именно то, что Воронеж есть колыбель русского морского флота, обстоятельство очень поучительное для российской истории и очень характерное. Проходит тут видная от Митрофаньевского монастыря древняя дорога из Варяг в Греки — Калмиюсская Сакма, обстоятельство для нас не особо важное, ибо нечего помнить нам о варягах. Было в этих местах много разных святых, один из них, Тихон Задонский, был даже приятелем русской литературы,— приятельствовал с Федором Михайловичем Достоевским,— но и это неважно нам. Существенно отметить — опять о Петре: превратив степной город Воронеж в Российский

Амстердам, именно отсюда Петр людьми и приспособлениями начал водный канал, который должен был соединить Дон с Окою (Епифаньские шлюзы живы были до 1910 г.),— Епифаньские эти шлюзы суть прародителя ныне, через двести лет после них роемого Волго-Дона. Вот и все исторические справки. Пыль черноземная и пыль истории — вещи ни с чем не сравнимые. Еще задолго до европейской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею начало быстро беднеть, поставляя отходников в города и в Донбасс. Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции.

Наш сосед и друг Федора Федоровича, Филипп Павлович, сам бывший крестьянин, ныне электромонтер, рассуждает:

— Исход крестьянам найден правильный — коллективы. Прямо надо заочно считать, что от удачи коллективов зависит спасение деревни, и спешить с этим необходимо надо, прямо надо сказать: положение деревни теперь бедовое. Коллективы по деревням нам сейчас нужнее Днепростроя. Не удадутся коллективы — мужик будет спасаться в одиночку, иначе сказать, пойдет по кулацкой дороге. Каждый трудящийся есть хочет. Государство должно всякому питанию помогать, и чтобы это содействие не буксовало на бумаге, как колесо на рельсе. А опасения от переусердия уже имеются,— я ведь далеко вижу. Колхозоцентр уже трудится, а кроме него — сосчитаем про себя — волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы норовят влипнуть в колхозное строительство,— и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить. Главное руководство, я полагаю, заключается в том, чтобы не мешать безвыходному желанию мужиков к устройству своей судьбы через коллективы,— я сам мужик, я-то себя знаю. Что нужно деревне? — в первую очередь нужны землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агрономия, я так полагаю,— очередь вторая, особенно по теперешнему времени, когда участковый агроном еще кое-как усердствует,— а что выше участкового,— так те совсем не нужны, они все разъезжают междуведомственно, согласуют будущее и к крестьянству не относятся.

Мы перебили себя сельскохозяйственными суждениями Филиппа Павловича, дабы малявинскими красками нарисовать черноземный пейзаж, имеющий, по существу говоря, краски в себе серые, медленные, длинные.

К сельскому же хозяйству относятся хлебозаготовки.

Видели мы хлебозаготовителей, безошибочно можно сказать, что на душах у них лежат тяжести, равные весу заготовленного ими хлеба. Народ они хороший, несчастный и молчаливый (молчаливый, быть может, потому, что на ссыппунктах неминуемо много приходится разговаривать, вплоть до тяжелого сердцу мата). Познакомились мы с молчаливым кооперативным членом правления и слышали его историю. Вызывал его проезжавший мимо в своем вагоне замнаркомторг для надлежащего подтягивания, дошел член правления до вагона, взялся за поручни — и ужаснулся тогда, а ужаснувшись — пригнулся к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл наедине с природой трое суток, не пивши, не евши. Его искали сельские милиционеры, но разве сыщут кого эти люди, самые кроткие из всех попечителей благочиния на земле? — и член правления на четвертый день самовольно возвратился домой, съел две корчажки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл вдаль по своему расписанию.

Гражданин этот — кооперативный член правления — был приятелем Федора Федоровича, забегал иной раз послушать нашего всесоюзного дьячка, и Федор Федорович, близкий к железнодорожному делу человек, проектировал часто разные способы усиления хлебозаготовок, так как до его сердца слишком все касалось.

Например. Наглядным опытом, через окна вагонов, знал Федор Федорович, что еще с самой ранней весны, почти сейчас же после снега, самый главный пассажир, который едет мимо Воронежа на Кавказ, есть — отдыхающий. Уверял Федор Федорович, что эти нарицательно называемые отдыхающие, едущие по курортам, не есть ни рабочие, ни средние служащие, а явный бюрократический актив, вооруженный секретареподобными женами или женоподобными секретарями, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не им и не для него завоеванные в 1920 году. Так вот, Федор Федорович предлагал — перестать кормить этот бюрократический актив, не трогая пока пассива, прекратив одновременно его перевозку на юг для наращивания пластических сил, возя на его месте съедобные мешки. Федор Федорович

утверждал, что это способствует вывозу хлеба и ввозу машин нз-за границы, а также н тому, что кооперативному нашему члену правления реже придется убегать со столбовой дорогн социалнзма в просо, как прнскорбно выразился Федор Федорович.

Федор же Федоровнч рассказал нам о встрече в поезде, когда ездил он поднимать нз-под откоса свалнвшийся паровоз.

В Ряжске сел внимательный человек, развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматрнвая пассажиров. Напнтавшнсь, он зорко уставнлся в окошко и не отрывался от зрелнща велнкорусскнх пространств сто верст. Тогда он обратнлся к Федору Федоровнчу как к железнодорожннку.

— Ннкак не вижу межн! — сказал с огорчением. — Здесь сразу должны кончаться суглннкн н подзолы и должна начннаться сплошная чернота почвы, нменно Че-Че-О.

— Какая межа? — спроснл Федор Федорович.

— Межа Че-Че-О, Центральной Черноземной Области. Она, нзвольте вндеть, больше Англии н чуть меньше западноевропейских держав, а вот межн ннкак не видно, хотя на плане она ярко нарнсована жирной чертой. Как же так?

Помолчалн. Внимательный человек глядел в окно.

— Вы куда едете-то? — спроснл Федор Федоровнч.

— В Воронеж — куда же больше? — вопросом ответил внимательный человек.

— Это почему же вы так говорнте — «куда же больше»? — на вопрос вопросом ответнл Федор Федоровнч.

— А там, вндnте ли, организована теперь Черноземная Область, Че-Че-О. Отстранваются новые учрежденння. Еду служнть. Я человек сокращенный.

— Откуда? — сочувственно спроснл Федор Федорович.

— Сократнлн?

— Да.

— Известно — нз учреждения. Я человек служащий. Мы всю жнзнь служнм. Десять лет я состоял беспорочно в уездной архивной комнссии, а теперь свалнлн все документы в подвал статбюро, а в городе хорошего крысомора нету. Теперь звери всю мою работу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не понять! — как же? — все остаткн революции в ннх, больше нх нигде нету.

— Думаете там работу найтн, в Воронеже? — спросил Федор Федорович.

— Непременно,— ответил архивариус.— Люди моего сословия должны находиться в служебном состоянии. Непременно!

Федор Федорович в тот вечер, как рассказывал нам об этом своем свидании, совершенно разохался: «Ведь вот сукины суслики! — сколько их по советской земле ездит, службу ищет, колбасу жрет! — и смотри ты, как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!..»

Показывал нам потом Федор Федорович на улице этого внимательного суслика: устроился, вошел в свое состояние, служит, отпускает бакены, вошел в служебную схему. Федор Федорович уверен, что именно эти самые суслики такие, например, правила чинят по его железнодорожному делу: опоздал поезд на сорок три минуты, стоять ему по расписанию пятьдесят минут в Воронеже. Прицепили свежий паровоз, полазили по крышам, добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи,— дела на десять минут, а поезд стоит единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания, хоть и мог бы сократить опоздание,— стоит по регламенту, а не по смыслу.

Видели мы областников, так сказать, строителей. Угощали они пивом москвича в столовой ЕПО, организационно обсуждали, опираясь на портфели, и пребывали в организационно-областной ярости. Многого из их разговоров подслушать нам не удалось, в силу естественного страха, который исходил к нам от них.

— Позвольте, Иван Сергеевич, куда ж это годится! — говорил средний человек, утирая бредовой пот со лба прямо ладонью.— Надо всесторонне обсудить, как поделить нам организационно и исторически неделимое? Тамбовский край, эта культурная единица, существовал еще со времен Гавриила Романовича Державина, когда покойный был тамбовским губернатором. Тамбовский край уже тогда был государственным понятием, а сейчас мы предполагаем северный кусок природного поценского края отхватить от Тамбова в другой округ. Извините, мы тоже пока еще губерния! — у нас есть ВЦИК! — Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и даже не из важных!

Нам показалось, что этот деятель, начав за здравие масштабов областных, заканчивал упокоем своей губернии, откуда, по всем видимостям, происходил родом и служебным положением. Другой собеседник был более областно-

мыслящ, судя по его словам, в силу той причины, что происходил он из Кирсанова. На Тамбов он нападал, считая его тургеневским дворянским гнездом и в вишневых садах,— но нападал и на Воронеж, отдавая дань его морскому прошлому, после которого в округе остались только одни леса местного назначения; он даже не отстаивал Кирсанова, ибо вопрос Кирсанова не касался, но сообщил все же, что отапливается теперь Кирсанов не кизяком, а торфом и в прошлом году был вырыт первый артезианский колодезь. Поскольку дело не касалось Кирсанова, патриотической ярости у кирсановца не замечалось.

— Нет, товарищ,— сказал третий, отпивая пиво.— Теперь такая эпоха, приходится все сверху донизу, снизу доверху, а также вдоль и поперек. Теперь самокритика пошла, нашего брата массы в плюшку жмут.

Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился.

— Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он.— Мы никак не привыкнем к равновесию... Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание.

В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы «Герцеговины Флоры».

— Сделайте одолжение,— сказал он.

Кирсановец посмотрел коробку хозяйственным глазом, понюхал табак и спросил:

— А сколько же стоит такая одна папиросина?

— Пустяки,— сказал москвич,— шестьдесят пять копеек пачка.

— Ага. Без малого три копейки штука. У нас на три копейки можно пучок купырей купить, можно полбуханки хлеба съесть, можно стакан молока выпить, за две папиросины тебе лапоть сплетут, а другой сам на дороге найдешь,— сказал кирсановец, выводя товарную стоимость трех копеек; еще раз осмотрел папироску и сладко закурил.

— Это же и есть равновесие, о котором я говорю,— конкретно увязал москвич.— Я, допустим, с моими газетными статьями зарабатываю четыреста-пятьсот, а вы — сто. Но вы живете зато не в Москве, и мои четыреста, если подсчитаешь, равны вашим семидесяти рублям.

— Значит, деньги у нас в пять раз дороже? — спросил тамбовец.

— Вот именно,— ответил москвич.

— Я вот курю папиросы «Бокс»,— сказал кирсановец,— значит, мой «Бокс» выходит по вкусу, что и ваши «Герцоги», либо даже лучше?

Москвич мягко поправил кирсановца, молвив учтиво:

— Одни папиросы брать, конечно, не следует.— Вы примите во внимание квартиру, ванну, отопление... Надо брать всю массу товарной продукции и учитывать по среднему...

— Не учтешь! — сказал грустно кирсановец.— Ванн, например, у нас не полагается, ходи в две недели раз в баню! У нас в одной волости пять лет подряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон вроде бы стоял, а мы его и не видели... А найди виноватого,— виноватого учесть еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастет, отговорка есть, что из-под травы не было видно.

— Равновесия нет,— молвил москвич, точно накладывая свою резолюцию на все местные беды.— Вы раньше сказали о самокритике, что масса учреждения давит... Вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может, потому что учреждение должно руководить. Не правда ли? — А иначе придет какой-нибудь болван в учреждение синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы... Ну и что же будет? — будет хуже, будет плохой кузнец, только и всего... Нет, надо самокритику ввести в здоровое русло — придать энергии народа плановый темп!

— Русло тоже дело ненадежное,— сказал кирсановец, представив себе, должно быть, русло речное.— Реки иной раз размывают свои русла.

Тамбовец вернулся к теме в масштабах областных.

— Я полагаю, с областью мы явно спешим,— заявил он горестно.— Границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначение на новые областные посты, а понаехало уже много иногородних. И вообще, в общем и целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах.

Кирсановец молвил раздумчиво и печально:

— Говоря по совести, у меня ум за разум зашел Крестьяне будут пахать по-прежнему, как и в губернском масштабе, рабочие не бросят работать оттого, что границы округов не уточнены. Это верно.. Наше дело — руководить Это тоже верно... Раздумаешься иной раз... Настоящее руководство — всегда, конечно, помощь. Ну а бюрократическое иной раз обращается прямо во вредительство, я на

своей шкуре знаю.— Он помолчал и сказал твердо: — То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следовательно, способно помочь рабочему и крестьянину раздавить живой силой жизненные затруднения и прямо вести по дороге революции. В этом, я полагаю, и есть весь смысл самокритики.

Собеседники его посматривали неодобрительно.

Мы свое пиво выпили и оставили столовую ЕПО, а затем, не имея плана прогулки, пошли к Митрофаньевской площади, откуда видна Сакма Калмиюсская. Лежала перед нами степь, и явно чувствовалось нам, что это не простые уже губернские поля с перелесками местного назначения, а — областные. Рожь, по подсчетам областных организаторов, расти будет гуще. Пусть растет! — и на густую рожь найдутся едоки!..

Вечером однажды, в тишину российского дождика, валяясь на своих койках, разговорились мы о трамваях, о бакенбардах, о любви. Разговоры наши были скучны. Не могли мы не согласиться с другом, что впечатления наши совпадают совершенно,— о том, что служащая провинция уж очень много больше, чем следует, заражена бюрократизмом. Служащий человек ведет себя и на воле, как на службе. Он недоверчив, он одинок, он непрерывно боится за свою судьбу и занимается самоспасением. С ним трудно ехать в трамвае, с ним не о чем разговаривать, ибо он хитрит и готов подставить ножку, жене и детям с ним неимоверно скучно. Мы раздумались о женах этих мелких бюрократов, души которых повреждены бакенбардами. Жена и дети не знают, какие почки настояли сердце их отца и мужа, они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушающую силу этого родного сердца, которое и на детей своих смотрит затравленными и зайцем и волком одновременно. Мы договорились до того, что бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей.

На печаль нашу зашел к нам Федор Федорович, бодрый человек. Послушал нас, сказал, как всегда, иносказательно:

— При диктатуре пролетариата, я так полагаю, при советской власти дорог бояться не надо. К социализму надо идти — по пути трудному, а которые себя облегчают в дороге — грош тому цена. При пролетарской диктатуре всякие

оргаиизации есть дело второстепеииое и низкое. Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и — самое главиое — искать дороги друг к другу. Дружество и есть коммуиизм. Ои есть как бы иапряжеиное сочувствие между людьми.

Приходили к нам изредка гости — ие наши друзья, ио друзья Федора Федоровича, местиые мастеровые, как любят называть себя рабочие. Каждый деиь беседовали мы с Федором Федоровичем. Ои говорил иносказательио, ио точио. Чтобы поиимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в глаза и сочувствовать тому, что ои говорит, тогда его затрудиеиия в речи имеют проясияющее зиачеиие. На подокоиике, у иас, рядом с дьячком, росли кроткие цветы, не имеющие назваиия с детства.

Федор Федорович говаривал часто:

— Мастеровой в наши дии стал более скрытным, прямо углублеииый и задумчивый человек. То ли это развитие личиости, то ли печаль. В старое время общая безиадежиость делала нас в своем кругу веселыми и самозабвеиными. Теперь у молодых рабочих есть надежда и есть какая-то виутреиияя иеуверенность в ней.

Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как ои думает — одиа область лучше четырех губерний?

К Федору Федоровичу изредка приходил гармоиист. Федор Федорович не зиал тогда, чем получше угостить гармоииста, заслушивался его и волиовался от музыки.

— Рабочий человек,— говаривал Федор Федорович,— должен глубоко поиимать, что ведер и паровозов можио наделать сколько угодио, а песию и волиеиие сделать нарочио иельзя. Песня дороже вещей, оиа человека к человеку приближает. А это трудией и нужиее всего.

И одиажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:

— Вот видишь, чем иадо людей смазывать. А вы говорите — организация. Оиа, поиимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравоучительность из иас куда-то пропала. В газетах пишут, что иаша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, оиа ие оскудела, а ее объели, и объедали лет сто подряд. Областью тут ие поможешь.

Слушая гармоиию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говорил:

— Сердечиость у иас пропала, необходимость оскудела.

Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь,— все равно.

Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. Живого его языка упомнить невозможно, примерно он таков:

— Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет.— Ну, кого послать, скажем, в организацию? — посылаем его, нам он в работе не нужен, работать он не научился, а таких, как я — я это по душам говорю, положа руку на сердце,— таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает?! Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочих товарищеских связей с мастеровыми. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много два, по всем документам — он рабочий, и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт и сво-организации. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не сменяю, потому что не уважаю ни имущества, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться. А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека...

Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке. Однажды он играл шимми. Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого танца шелкочулочных ног и бесполых тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполых ног, как искреннюю тонкую пьесу.

По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:

— Все можно изгадить,— сказал он.— Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю, любое искусство сделано по модели любви. Ну а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви — ничего необходимее нет.

Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:

— Федя, заткни ты этого хрипатого дьявола, мы не к обедне пришли, а к тебе.

Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорогостоющи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них вместо горячего клея употребляется остуженный кисель либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравоучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.

— Не понимаешь? — сказал Филипп Павлович.— Поп,— ну, какой он нам нынче враг? — соринка! Лавочник — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый! Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.

— А еще вот — грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал,— вставил Федор Федорович.

— Во-во, и он,— подтвердил Филипп Павлович,— и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.

Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:

— Ты вот что объясни нам,— сказал Филипп Павлович.— Почему это все в массы швыряют — прямо как кир-

пнчи летят. Кнngу, пншут,— в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже, зиачнт, в массы, то есть к нам, к одному месту, дьячка этого,— ои кивнул иа подоконнник,— тоже в массы, критику — опять давай в массы. От таких швырков голова отлетнт.

— Радио же вои дошвырнули!

— Радио — это да, только иикто ие швырял, я сам сделал на свон деньги. А вот другие вещи, на которые государство деиьги тратит, до иас ие долетают, на воздухе от треиия сгорают, вроде как звезды, иебесные кирпичи.

Федор Федорович подтвердил:

— Зашвыряли массы, прожевать некогда.

Филипп Павлович закончил свою мысль: спеша опереднть Федора Федоровича:

— А ведь это только сверху кажется,— крнкиул он,— только сверху видать, что вннзу — масса, а иа самом деле виизу отдельиые люди жнвут, нмеют свон наклониости, н одии умиее другого

Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федоровнч рассказал нам странный свой сои. Сои этот волиовал Федора Федоровнча, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что ои наяву видит, как под колесами поезда проскакивают граиицы губериии, областн, РСФСР, уездов, райвнков, сельсоветов, райоиов тяготеиия к ссыппунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахариой свеклы и ликбезов, профсоюзиые линии, разграиичивающие скрещивающиеся влияиия райкомов, райуполиомочеиных, у-ов, губ-ов, обл-ов, разиых нниструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область, Федор Федорович вндел тысячи линнй: жирных, тоиких и пуиктириых, которые легли иа землю так, что из-за них не было видио травы.

Федор Федоровнч был удивлеи свонм сном.

— Поди ж ты! — говорил ои.— Ведь ежели издать геиеральную карту организациониого устройства области, чтобы ие упустнть чего-либо из памяти, чтобы любой ходок н ездок мог бы свободио узиать, под чьим иепосредствеиным воздействием ои иаходится в даииую миииуту своего жизнеииого существования,— так такую карту и издать невозможио, бумажиый плаишет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самою область. Иначе иевозможио будет разместить все лнинии организациоииого размежеваиия, иевозможио будет четким образом уместнть все линнн прямых н косвенных соподчниений, планирующих увязок, ин-

структирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции... И поди ж ты! — видел я еще во сне архивариуса,— он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку,— он сидит на областном планшете, в щели, сукин сын,— в государственной, заметь, щели,— и чувствует себя спасителем революции!..

Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем чтобы назавтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.

— Федор Федорович,— спросили мы последний раз, выполняя наше задание.— Что же, нужна вам область или нет?

— Не обязательно,— ответил Федор Федорович.— Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

— А это что такое? — не поняли мы.

— Это, как тебе сказать,— когда мне и тебе отлично, и ребенка пустить к людям не страшно. А второе тебе будет хлеб с закуской. А третье — область твоя. Надоел ты мне с ней.

— А отчего нам станет отлично?

Федор Федорович стал в тупик, ответил не сразу.

— От хороших людей, наверное? — полувопросом ответил он.— Наделать всего побольше, чтобы никто не серчал,— богачей ведь у нас нету, никто не отымет,— и надо уважать друг друга, не бояться. Трудовой человек должен напряженно сочувствовать другому обремененному. Надо уважать человека. Это самое главное. Тогда и труд будем уважать.

Над областью лежала тьма, ровесница сотворения мира, когда мы уезжали из Воронежа, где в столах учреждений покоились до утра сложные планы и бумаги для вдумчивого выполнения. Федор Федорович провожал нас, ехал на линию исправлять изгадившийся мост. Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подъемов, пакетажные столбики и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сроду не справлялся с этими знаками:

машинист чувствовал ногами работу паровозной тележки и настороженной душой безошибочно угадывал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Старые паровозные машинисты по виду небрежны: если бы служилый суслик видел машиниста, как он рассеянно ведет поезд и, не глядя, шурует рычагами, то он непременно оставил бы поезд, вылетел бы из него пулей, боясь безусловной гибели,— и он потребовал бы приставить к машинисту контролера, чтобы контролер «наблюдал». С машиной надо держать себя просто, искренне и самому быть не глупее ее, машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений. Все эти мысли пришли Федору Федоровичу. Колеса вагонов отбивали свой речитатив, там проскакивали границы губерний, уездов, виков и прочего благоустройства. И Федор Федорович сказал:

— Революция — как паровоз. И революционеры должны быть машинистами.

Поезд подходил к станции, тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса, под вагоном колыхнули вагон стрелки и крестовины станции.

— Вот, слышите,— сказал Федор Федорович.— Ведь если бумажного суслика пустить на паровоз, он поставит там наблюдателя к машинисту. Он втугачку зажмет колеса, из-за бюрократической предосторожности,— колеса революции, и при нем, чего доброго, до социализма доедешь немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю, сгорит от форсированной работы, таща поезд волокитой на зажатых тормозах.

Федор Федорович сошел с поезда на этой станции. Мы распрощались с ним, расцеловавшись. В нашем вагоне ехали люди с Кавказа, накапливавшие там пластических сил. Нам казалось, что им следовало бы слезть на какой-либо черноземной станции, чтобы отправиться в колхоз на уборку урожая и для выделки кирпичей для новой огнестойкой деревни. Но они ехали — никак не в деревню, нагретые кавказским солнцем.

усомнившийся макар

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел,— завтра жди какого-нибудь принятия мер... Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет...

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг Макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволили бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому..

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй,— сказал Макар товарищу Чумовому.— Я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок,— ответил Макар, не думая,

а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее,— сказал Чумовой,— а то тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе,— думать он не мог,— а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

«Должно быть, оттого и железа нету,— догадался Макар,— что мы его с водой выпиваем».

Ночью Макар полез в сухой заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства. Макар был неподъемен,— у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке — никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало: их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет,— говорит Макар,— я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой.— Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал,— отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю,— ответил Макар,— у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся.

— Ты что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — еди-

ноличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я ж не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь,— упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал,— сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой.— Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

* * *

Макар ездил в поездах девять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. «Езжай далее,— говорила ему, бывало, пролетарская стража,— ты нам мил, раз ты гол».

Нынче Макар, так же как и девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдью и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать, и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

«Замучают они машину,— жалел колеса Макар.— Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст».

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Пошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как по его предположению была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

«Чем вещь тяжелее,— сравнительно представлял себе Макар камень и пух,— тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы».

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне, будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка.— До Москвы недалече: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастеровые пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

«Теперь я и пешком дойду! — сообразил Макар.— Авось поезд домчится и без добавочной тяжести!»

И Макар тронулся в направлении башен, церквей и грозных сооружений — в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь.

* * *

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов, удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучились и мало росли. Макар понимал такую природу неотчетливо:

«Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?»

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли:

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение.— С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами, и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал,— он уважал людей из масс,— однако посоветовал Макару обратиться в Москву: там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы: я — исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

«Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей.— Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!»

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям «спасибо!»,— без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись под мышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

«Только чего ж они бегут, силы тратят? — озадачился Макар.— Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!»

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. «Хорошие люди,— думал он,— трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!»

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без

всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

«Бедная работница! — думал Макар о машине.— Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет,— живые ноги бережет!»

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

— Я — так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне чего-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь — тебе по требованию,— сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папиросу в уличное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

«Ржаную муку здесь не уважают,— заключил в уме Макар.— Здесь белыми жамками кормятся».

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под гору и сообщил:

— У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь

с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал,— заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу,— там ребята тебя покормят,— помог Макару каменщик.— А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а стало быть — никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

* * *

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется,— он интересовался техникой, как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и оттого, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рощу, а что нужно, чего не хватает на постройке — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую научно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что он изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, а потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать,— сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, что ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую,— доказал Макар.

Писец подумал что-то втайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем

техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном месте — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: «Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии».

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер,— обратился Макар,— укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

* * *

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, трамваях и на живых ногах толпы.

«Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!» — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той головою шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Ныне же голова бед

ного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько новых чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

«Ничего себе властишка! — оценил Макар.— Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

«Пусть живут! — решил про них Макар.— Они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают, а раз они от должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!»

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат,— сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться,— он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний,— сказал Макар.— Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант.— Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь: либо с нищими, либо с сезонниками...

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит,— попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант.— Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм,— будет ли в социализме удивительная радость, и какая?

— Дома-то строили и раньше,— согласился комендант.— Только в них тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно,— обрадовался Макар.— Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груду кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

«Тоже...— рассуждал Макар,— лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучился: мала советская власть — своего имущества не видит!»

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил, поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись, как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали, наконец, являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от изможденья.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках, и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, в центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей...

Пролетариат пошевелился на койках.

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос.— Двинь его слегка, чтоб он стал нормальным...

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали,— говорил Макар.— Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние,— их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса... Тоже и в строительстве домов и сараев,— их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите... Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорей...

— Какую кишку? — произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку,— подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила не дорога,— мы и по мелочи дома поставим,— нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания,— друг другу закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался, а это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную кой-

ку и затнх от сомнения, что всю жизнь занимался непролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, нли возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, н глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, нмея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего н тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзнрателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетарня, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды н спросил рябого:

— Все ушлн на работу,— чего же один стоишь н умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающнх мало,— я наметил себе думать за всех. Понял ты меня нлн молчишь от дурости и угнетенья?

— От горя и сомнения,— ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех,— соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; также много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фаэтонах, а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил свое сознание.

— Я-то? Я надуваюсь существовать вроде Ильича-Ленина: я гляжу и вдаль, и вблизь, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да то-то! — успокоился Макар.— А то я намедни видел громадного научного человека: так он в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы! — умно произнес Петр.— Он на уклоне стоит, и ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться, и не удариться насмерть — и считать себя правым, а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков почвы не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление вперед, не отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности почти научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хо-

чется, а партия говорит: вперед заводы постронм,— без железа хлеб растет слабо. Понял ты меия,— какой здесь ход в самый раз?!

— Поиял,— ответил Макар.

Кто строит машииы и заводы, тех он понимал сразу, словио ученый. Макар с самого рождеиия иаблюдал глиносоломеиные деревии и ннсколько ие верил в их участь без огиевых машии.

— Вот,— сообщил Петр.— А ты говоришь: человек тебе иамедии не поиравился! Он н партии и мие не иравится: его ведь дурак-капитализм пронзвел, а мы таковых подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только ие зиаю что! — высказался Макар.

— А раз ты ие зиаешь — что, то следуй в жизии под моим руководством; ииаче ты с тонкой линии неминуемо тресиешься вииз.

Макар отвлекся взором иа московскнй народ и подумал:

«Людн здесь сытые, лица у всех чистоплотные, жнвут они обильио,— онн бы размножаться должиы, а детей иезаметно».

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь ие прнрода, а культура,— объясинл Петр.— Здесь люди живут семействами без размножения, тут кушают без производства труда...

— А как же? — удивился Макар.

— А так,— сообщил зиающий Петр.— Иной одиу мысль напишет иа квитаицни,— за это его с семейством целых полтора года кормят... А другой н не пишет ничего,— просто живет для иазидаиия другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрелн Москву-реку, улнцы, лавкн, где продавался трикотаж, н захотелн есть.

— Пойдем в милицию обедать,— сказал Петр.

Макар пошел: он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорнть, а ты молчи и отчасти мучайся,— заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделеиии сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А протнв всех сндел дежурный надзиратель н прииимал народ в живой затылок. Иных ои отправлял в арестный дом, нных — в больницу, иных устраиял прочь обратио.

Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа иа улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению.— Чего ж он нарушил в общественном месте?

— А ничего,— открыто сказал Петр.— Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник.— Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование...

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить,— все люди в разгоне...

— Давай я его сведу,— предложил Петр.— Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать,— указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много,— отказался Петр.— Ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание,— заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух:

— Наши учреждения — дерьмо,— читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина.— Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушались Ленина,— они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

— Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян,— читал дальше рябой Петр.— Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят...

— Видал? — спросил Макара Петр.— Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем... Книгу я эту отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

* * *

Петр знал, куда надо идти,— в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится «кто кого?», то давай мы его...

— Нет,— отверг опытный Петр,— у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены,— сказал Петр высшему начальнику.— У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой...

— Берите. Она ваша,— сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и

сами бедиые могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя иа квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его иикто письмеиио ие отзывал оттуда. И присутствовал ои там до тех пор, пока не была назначеиа комиссия по делам ликвидации государства. В ией тов. Чумовой проработал 44 года и умер среди забвеиия и каицелярских дел, в которых был помещеи его золотой гос-ум.

КОТЛОВАН

повесть

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем н задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок н вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, н облокотился в конце города на ннзкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду н пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачнваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томнлся духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уноснлась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке н проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звукн и мучиться сердцем, окруженным жесткнми каменистыми костямн.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении.— Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства,— сказали в завкоме.— О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

— Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Вощев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тай-

ну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически,— наблюдал родителей Вощев,— сущности они не чувствуют».

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вощев, обратясь в окно.— У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги.— Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близко,— ответил надзиратель,— если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка,— сказал Вощев,— когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер и где-то кричали петухи на деревне — все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни,— со скупостью сочувствия полагал Вощев,— лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая,— сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием.— Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев

скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

– Я ж вчера тебе целый рубль дал,— сказал кузнец.— Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид.— Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:

— Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка, держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели

кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека не смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь,— сказал он инвалиду.— Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий.

Вощев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека.— Получить от меня захотел?!

— Нет,— ответил Вощев.— Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

— Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя

повредили,— тихо проговорил Вощев.— Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты,— нету.

— Я на войне настоящей не был,— сказал Вощев.— Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

— Эх!..— жалобно произнес кузнец.— Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Вощев.— Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Вощев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы

сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полуночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади.

— Чего тебе! — неохотно говорил Вощев.— Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями,— каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует,— и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

— Он слаб!

— Он несознательный.

— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.

— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.

— Видя по его телу, класс его бедный.

Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от изможденья слабо росла борода.

— Я здесь не существую,— произнес Вощев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного.— Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде.— Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста.— Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверно, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Вощев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от изможденья слабо росла борода.

В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака; время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда...

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равно-

сильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

— Иди с нами кушать! — позвали Вощева евшие люди.

Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

— Что же ты такой скудный? — спросили у него.

— Так,— ответил Вощев.— Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит — весь народ занят жизнью и трудом.

Вощев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.

— Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

— Ну стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.

— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в

рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата,— и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

— Это что еще за игрушку придумали! Куда это мы пойдем — чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

— Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жиз-

ни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья,— тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафронов.— Что мы — или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный.— У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека,— и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Вощев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом — он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же наста-

нет пора бутовой кладкн, то Чнклнн подчиннтся Сафронову.

— Мало рук,— сказал Чнклин инженеру,— это измор, а не работа — время всю пользу съест.

— Бнржа обещала прнслать пятьдесят человек, а я проснл сто,— ответил нннженер.— Но отвечать будем за все работы в матернке только вы н я: вы — ведущая брнгада.

— Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лншь бы людн явилнсь.

И сказав это, Чнклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточнв вниз равнодушно-задумчивое лнцо. Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью н будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть нз высокнх окон в простертый, ждущий его мнр. Уже тысячи былинок, корешков н мелкнх почвенных приютов усердной тварн он уннчтожил навсегда н работал в теснннах тосклнвой глнны. Но Чнклнн его опередил, он давно оставнл лопату н взял лом, чтобы крошить ннжнне сжатые породы. Упраздняя старннное прнродное устройство, Чнклин не мог его понять.

От сознання малочисленности своей артелн Чнклнн спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его прнвычно бнлось, терпелнвая спнна нстощалась потом, ннкакого предохраняющего сала у Чиклнна под кожей не было — его старые жнлы н внутренностн блнзко подходнлн наружу, он ощущал окружающее без расчета н сознання, но с точностью. Когда-то он был моложе н его любнлн девушки — нз жадностн к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не храннло себя и было преданно всем. В Чиклнне тогда многне нуждалнсь как в укрытии и покое средн его верного тепла, но он хотел укрывать слншком многих, чтобы н самому было чего чувствовать, тогда женщины н товарнщн нз ревностн покндалн его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходнл на базарную площадь и опрокндывал торговые будкн нлн вовсе уноснл нх куда-нибудь прочь, за что томнлся затем в тюрьме н пел оттуда песнн в летнне вншневые вечера.

К полудню усердне Вощева давало все меньше н меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья н отстал от артелн; лншь однн худой мастеровой работал тнше его. Этот задннй был угрюм, ннчтожен всем телом, пот слабостн капал в глнну с его мутного однообразного лнца, об-

росшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

— Козлов! — крикнул ему Сафронов.— Тебе опять неможется?

— Опять,— ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

— Наслаждаешься много,— произнес Сафронов.— Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.

— За что он тебя? — спросил Вощев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

— Они говорят,— ответил он,— что у меня женщины нету,— с трудом обиды сказал Козлов,— что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!

Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

— Сафронов,— сказал Вощев, ослабев терпеньем,— лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумаешь,— не отвлекаясь сообщил Сафронов,— у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.

— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спереди.— Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

— Козлов, ложись вниз лицом, отдышаться! — сказал Чиклин.— Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступ-

ление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам — его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные непременные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

— В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня — суббота: вам уже пора кончать.

— Как так кончать? — спросил Чиклин.— Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.

— А надо кончать,— возразил производитель работ.— Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.

— Тот закон для одних усталых элементов,— воспрепятствовал Чиклин,— а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? — спросил он у всех.

— До вечера долго,— сообщил Сафронов,— чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

— Может, природа нам что-нибудь покажет внизу,— сказал Вощев.

— И то! — произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

— Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

— А то что ж: ступай почерти и посчитай! — согласился Чиклин.— Все равно земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода, и

ои, мальчик, ие зиал, куда ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, иад равниной пошли медлеииые сумрачные облака, и во всей Россни теперь моют полы под праздннк социализма,— иаслаждаться как-то еще рано н нн к чему; лучше сесть, задуматься и чертнть части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость, н ум его увеличнлся.

— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят,— сообщил Козлов.— Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

— Козлов, ты скот! — определнл Сафроиов.— На что тебе пролетариат в доме, когда ты однным своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов.— А кто меня любнл хоть раз? Терпи, говорят, пока старнк капнталнзм помрет, теперь он кончнлся, а я опять живу однн под одеялом, и мие ведь грустно!

Вощев заволиовался от дружбы к Козлову.

— Грусть — это ннчего, товарищ Козлов,— сказал он,— это значнт, наш класс весь мнр чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Вощев и другие с иим опять встали на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пелн птнцы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пнщн в пространстве; ласточки иизко мчались иад склоненными роющнмн людьмн, онн смолкалн крыльями от усталостн, и под нх пухом н перьями был пот нужды — онн летали с самой зарн, не переставая мучить себя для сытости птенцов н подруг. Вощев поднял однажды мгиовенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увндеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтоженнн сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храннться людн от невзгоды н бросать крошкн из окои жнвущим снаружи птнцам.

Чиклин, не видя нн птиц, ни иеба, ие чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глиннстой выемке, но ои ие тосковал от усталости, зная, что в иочном сне его тело наполнится вновь.

Истомленный Козлов сел на землю н рубил топором обнажившийся нзвестняк; он работал, не помня времеин и места, спуская остаткн своей теплой силы в камень, который ои рассекал,— камеиь нагревался, а Козлов постепеино

холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?

Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и точно грусть — стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле ис-

кусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека? А если производство улучшить до точной экономии — то будут ли происходить из него косвенные, нежданные продукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто,— вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру — флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступила тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно, сче-

товод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать.

Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался:

— Либо мне погибнуть?

Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение, и где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату.

— Лучше я умру,— подумал Прушевский.— Мною пользуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.

И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополуночи, и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов.

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел.

«Ну, что ж,— говорил он обычно во время трудности,— все равно счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству.

— Темп тих,— произнес он мастеровым.— Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.

— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся,— сказал Козлов.

— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!

Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек — скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства.

Пашкин глянул вдаль — в равнины и овраги; где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводится разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех все выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся.

— Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы,— сказал Пашкин.

— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов.— Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам.

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:

— Товарищ Пашкин, вон у нас Вощев зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад.

— Не вижу здесь никакого конфликта — в пролетариате сейчас убыток,— дал заключение Пашкин и оставил Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений.

До самого полудня время шло благополучно: никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Вощев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить.

После полудня Козлов уже не мог надышаться — он старался вдыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь

поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу.

— Расстроился? — спросил его Сафронов.— Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыслишь отстало.

Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения, он не знал, для чего ему жить иначе — еще вором станешь или тронешь революцию.

— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов.— Не переживет он социализма — какой-то функции в нем не хватает!

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился; он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминание — больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и врезать глубину в водоупор.

— Козлов пускай поболеет,— сказал Чиклин, прибыв обратно.— Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом в овраг и оттуда наладим его вверх: Козлов успеет дожить.

Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую организованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.

— Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама спускается в нашу массу.

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к

остающимся людям. С особой трогательностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил,— теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без пристальности, обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных отшельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади; в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе.

Прушевский определил Чиклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете.

— Нам это ничто,— высказался Сафронов.— Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем.

— Вот-вот,— произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади Чиклина на овраг.

Чиклин сказал, что овраг это более чем пополам готовый котлован и посредством оврага можно сберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание.

— А во мне пошевельнулось научное сомнение,— сморщив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Сафронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума.— Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось?— произносил постепенно Сафронов.— Иль он особое лобзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улучшенья!..

Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно:

— Некуда жить, вот и думаешь в голову.

Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Вощев

принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверно, он знает смысл природной жизни»,— тихо подумал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил:

— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?

Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неужели они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешками,— боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю,— ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили.

— Зря,— определил Вощев.— Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она мала!

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть.

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта менее точно,— теперь же ему хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению,— и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги.

Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе снаружи. И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.

Не иарушая своего покоя н удивлеиия, Прушевскнй оставнл канцелярию земляиых работ. В природе отходил в вечер опустошениый летннй деиь; все постепеиио кончалось вблнзи и вдалн: пряталнсь птицы, ложились люди, смирио курился дым из отдалеииых полевых жилищ, где безвестиый усталый человек сидел у котелка, ожидая ужииа, решив терпеть свою жизиь до коица. На котловаие было пусто, землекопы перешли трудиться иа овраг, н там сейчас происходило их двнжение. Прушевскому захотелось вдруг побыть в далеком цeитральиом городе, где люди долго ие спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастроиомические магазииы и оттуда пахнет виином и кондитерскими изделиями, где можно встретить иезиакомую жеищиину и пробеседовать с ией всю иочь, нспытывая таиинствеииое счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; утром же, простившись под потушеииым газовым фоиарем, разойтись в пустоте рассвета без обещаиья встречи.

Прушевский сел иа лавочку у канцелярии. Так же ои сидел когда-то у дома отца — летиние вечера ие измеиились с тех пор,— и ои любил тогда следить за прохожими мимо; иные ему иравились, и ои жалел, что ие все люди зиакомы между собой. Одиако же чувство было живо н печальио в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомиить ии ее лица, ии года того события, но с тех пор всматривался во все жеиские лица и ни в одном нз иих ие узиавал той, которая, исчезиув, все же была его едииственииой подругой и так близко прошла ие остановнвшнсь.

Во время революции по всей России деиь и иочь брехали собаки, ио теперь оии умолкли: иастал труд, н трудящиеся спали в тишине. Милиция охраияла сиаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателеи для утреииего труда. Не спали только ночные смеиы строителей да тот безиогий иивалид, которого встретил Вощев при своем пришествии в этот город. Сегодия ои ехал иа иизкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от иего свою долю жизни, за которой ои прнезжал раз в иеделю.

Пашкин жил в осиовательиом доме из кирпича, чтоб иевозможио было сгореть, н открытые окиа его жилища выходили в культурный сад, где даже иочью светнлись цветы. Урод проехал мимо окиа кухии, которая шумела, как котельиая, производя ужин, и остаиовился против кабииета Пашкиина. Хозяии сидел иеподвижио за столом, глубоко вдумавшись во что-то иевидимое для иивалида. На его столе иаходилнсь различиые жидкости и баиочки для укреп-

ления здоровья и развития активности — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело — не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю.

— Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознавший ни цены жизни, ни здоровья.— Опять хочешь от меня кой-чего заработать?

Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился — он никогда не желал тратить нервность своего тела.

— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?

Жачев ответил ему прямо по факту:

— Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду — любой кодекс для меня слаб!

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.

— Товарищ Жачев,— ответил Пашкин,— я тебя вовсе не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.

— Врешь ты, классовый изменник, это я тебе навстречу попадался, а не ты шел!

В кабинет Пашкина вошла его супруга — с красными губами, жующими мясо.

— Левочка, ты опять волнуешься? — сказала она.— Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.

— Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! — произносил из сада Жачев.— На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведовать такой с...!

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.

— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.

— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из мрака.— Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо

только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.

— Оля, он еще сливок требует,— обратился Пашкин.

— Ну вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? Ты ведь выдумаешь!

— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал,— сказал с клумбы Жачев.— Или окно спальной прошиб до самого пудреного столика, где она свою рожу уснащивает,— она от меня хочет заработать!..

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование,— даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.

— И качество продуктов я дома проверю,— сообщил он, остановив свой экипаж у калитки.— Если опять порченый кусок говядины или просто объедок попадется — надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас — мне нужна достойная пища.

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полуночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:

— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева — по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным вещест-

вом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина и направил движение своей тележки на земляной котлован.

— Никит! — позвал он у ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.

— Без сна рабочий человек давно бы кончился,— подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им виден.

— Ты кто такой низкий? — спросил голос Сафронова.

— Это я,— сказал Жачев,— потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?

— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот же Сафронов.— Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.

Чиклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.

— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин.— Кашу приехал есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтрему прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье.

— Я по тебе соскучился,— сообщил Жачев,— меня нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!

— Вот сделай злак из такого лопуха! — сказал Сафронов про урода.— Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нету момента чувства ума!

Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугун каши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть. Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и

сырости; они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным замком.

Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь понизу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем,— слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.

— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости!

— Что ж мне, обнимать тебя, что ли,— ответил Чиклин.— Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что!

— Могу,— ответил Сафронов,— смело могу! Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращу, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения.

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Вощев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства.

— Говорили, что все на свете знаете,— сказал Вощев,— а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить.

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей походкой.

— Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательно получить этот продукт — в круглом или жидком?

— Не трожь его,— определил Чиклин,— мы все живем на пустом свете, разве у тебя спокойно на душе?

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Вощева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!

— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации,— с полной значительностью обратился Сафронов.— Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...

— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать,— сказал пробужденный Козлов.— Перестань брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся — сон ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут...

Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Вощеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Вощев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.

Все последние бодрствующие легли и успокоились; ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя или радуясь.

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь; он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хо-

телось — наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным существом,— и так он прошел в то время мимо нее не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо.

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у Чиклина был единственным со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь, как на зиму, он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе.

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа.

— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Прушевский.— Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить...

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и со стеснением молчал.

Прушевский сел на скамью и поник головой; решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним.

— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время беспокоюсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до утра?

— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин.— Среди нас ты будешь отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь.

— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильно.

Чиклин и не думал ничего.

— Не уходи отсюда никуда,— произнес он.— Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.

Прушевский сидел все в том же своем настроении; лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего.

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал:

— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели мое лицо и смело спали...

Жачев тоже проснулся на тележке.

— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского.— А то у меня есть буржуйская пища.

— Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов.— Где это вам представился буржуазный персонал?

— Стихни, темная мелочь! — ответил Жачев.— Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб очистить место!

— Ты не бойся,— говорил Чиклин Прушевскому,— ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня.

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чиклина и там лег в одежде.

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться.

— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил,— тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь.— Все думал, что успею.

— Теперь вы механически выбывший человек: факт! — сообщил со своего места Сафронов.

— Спите молча! — сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством, он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства от несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость и

эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его ото сна.

— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб,— хладнокровно сказал он.— Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.

— Не ваше дело,— ответил Прушевский.

— Нет, извините,— возразил Козлов,— каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства — вот что такое!

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Вощев слышал эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна»,— полагал он.

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Вощева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях; он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушевскому:

— Если вечером опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит.

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовою бедностью земли; но другого места для жизни не было дано.

— Однажды, давно — почти еще в детстве,— сказал Прушевский,— я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.

— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чиклин.

— В этом же городе.

— Так она, должно быть, дочь кафельщика! — догадался Чиклин.

— Почему? — произнес Прушевский.— Я не понимаю!

— А я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же отказался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек.

Прушевский скромно улыбнулся:

— Но почему же?

— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь; лишь бы она жила сейчас на свете!

Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет действовал вблизи и вдали на их обоих.

— Небось уж она пожилой теперь стала,— сказал вскоре Чиклин.— Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или кухарочная.

— Наверно,— подтвердил Прушевский.— Времени прошло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.

Они остановились на краю овражного котлована; надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь в целости.

— А скорей всего она теперь созидательница,— произнес Чиклин,— и действует для нашего блага: у кого в молодых летах было несчетное чувство, у того потом ум является.

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не устроено уюта, и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение:

— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чиклин, когда она придет?

Чиклин ответил ему:

— Ты ее почувствуешь и узнаешь — мало ли забытых на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!

Прушевский понял, что это правда, и, побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде.

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к Чиклину.

— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь

бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе,— так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и произнес:

— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит.

— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов.— А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты подговорил одного бедняка во время самого курса на коллективизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты четкий!

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.

— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию,— сообщил Козлов.— Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта.

— Рабочий класс — не царь,— сказал Чиклин,— он бунтов не боится.

— Пускай не боится,— сказал Козлов.— Но все-таки лучше будет, как говорится, его постеречь.

Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнулся вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб

он первый разряд пенсии получил!» — и раздробил повозку между телом и землей благодаря падению.

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему человеку.— Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться.

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю.

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с другими очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал:

— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит — из него какой-нибудь принцип вырастет.

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.

— Прощай,— сказал ему Сафронов,— ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения...

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.

В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве,— и уже настало время труда в овраге.

Разные сны представляются трудящемуся по ночам — одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, сгорбленным способом — терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти

учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате,— и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.

Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели; он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу, но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает свет жизни, надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.

— А что, товарищи,— сказал однажды Сафронов,— не поставить ли нам радио для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!

— Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио,— возразил Жачев.

— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?

— Она сейчас сахару не ест для твоего строительства,

вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! — ответил Жачев.

— Ага,— вынес мнение Сафронов,— тогда, товарищ Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо.

— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету.

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.

— Ишь ты, железный инвентарь какой,— стоит и не боится,— рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой.— Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий супруг!

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал боль.

— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар,— сказал Сафронов.— А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.

— А для чего, товарищ Сафронов? — прислушался Вощев издали сарая.— Я хочу истину для производительности труда.

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.

— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости

Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами.

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь — он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.

— Что ж тут такое есть? — спросил у него Чиклин.

— Тут, дорогой человек, констервация — советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.

Чиклин сказал ему:

— Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питанья.

— А ты сам-то кто же будешь? — спросил старик, складывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо.— Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?

— Да я из пролетариата,— нехотя сообщил Чиклин.

— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.

С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь,— лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту, и он мог на последнее прощанье только

пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За той дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон, и там горела на полу керосиновая лампа.

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.

Около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и развела беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:

— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.

Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.

— А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила она у дочери.

— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты:

— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.

— Туши свет,— сказала старая женщина,— а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.

— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила девочка в темноте.

— Немножко,— ответила мать.— Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива...

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка, или от смерти?

— Мне стало скучно, я уморилась,— сказала мать.

— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет,— говорила девочка.— Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове... Знаешь что,— помолчала она,— я сейчас засну на одну только каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.

— Сними с меня твою веревочку,— сказал мать,— она меня задушит.

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо; до Чиклина не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь, ничто,— не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул — упал ли то старый кирпич в соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения.

— Подойдите ко мне кто-нибудь!

Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спекшихся трещинах, что она та самая.

— Зачем мне нужно? — понятливо сказала женщина.— Я буду всегда теперь одна.— И, повернувшись, умерла вниз лицом.

— Надо лампу зажечь,— громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение.

Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенка, стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывшую мать, он взял ее к себе на руки

и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины.

В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели — общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...

— Товарищи, мы должны,— ежеминутно произносила требование труба,— обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же, и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..

Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой.

— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

— Оставь, Сафронов, в покое человека,— говорил Вощев,— нам и так скучно жить.

Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества:

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в тебе был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Вощев, соревноваться на высшее счастье настроенья!

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле рав-

нодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.

Сафронов, заметив пассивое молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, чтобы наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо, и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду.

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства.

Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался:

— Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!

И, четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего и затем снова задремал.

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?

— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали,— объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.

— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!

— Ну так что ж,— сказал Чиклин.— Буржуйки все теперь умирают.

— Пускай умирают,— произнесла девочка.— Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.

— Ничего, ты будешь спать на моем животе,— обещал Чиклин.

— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?

— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.

— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!

Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.

— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!

— Какая я тебе Юлия?

— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч, как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.

Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.

— Я нашел твою девушку,— сказал Чиклин Прушевскому.— Пойдем смотреть ее, она еще цела.

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться вперед.

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуже.

— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях иль не тронут? — спросил старик.— Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; бабы сроду в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, как ведь стало интересно!

— Кому ты нужен! — сказал Чиклин.— Шагай себе молча.

— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит — бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.

— Подумай, старик,— посоветовал Чиклин.

— Да думать-то уж нечем.

— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.

— А я все уж позабыл, хоть сызнова живи.

Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.

— Она уже мертвая! — удивился Прушевский.

— Ну и что ж! — сказал Чиклин.— Каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминания.

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.

— Это не та, которую я видел в молодости,— произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: — А может быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них.

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему.

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для своего поцелуя,— веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности,— какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное.

— Ну, достаточно,— сказал Чиклин.— Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил ее рядом со скончав-

шейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

— Зачем ты стараешься?

— Как зачем? — удивился Чиклин.— Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!

Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки как память о скрывшемся навсегда валялись на его месте.

Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов.— Чем у тебя папаша-мамаша занимались?

— Я никто,— сказала девочка.

— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти?

— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать буржуйкой будет.

— Так как же ты организовалась?

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать.

— А я знаю, кто главный.

— Кто же? — прислушался Сафронов.

— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!

— Ну, девка,— смог проговорить Сафронов.— Сознательная женщина твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался больше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.

— Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! — останавливал его Сафронов.— Ведь здесь ребенок теперь живет, иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!

— Я, товарищ Сафронов, уж обсох,— заявил издали мужик.— Это я по отсталости растрогался.

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка.

— Где живот-то? — спросила она, обернувшись на глядящих на нее.— На чем же я спать буду?

Чиклин сейчас же лег и приготовился.

— А кушать! — сказала девочка.— Сидят все, как Юлии какие, а мне есть нечего!

Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом.

— Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас — уже известно.

Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила Чиклина рукой, как привычную мать.

Сафронов, Вощев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господ-

ствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костьми.

— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее чувство.— Перед нами лежит без сознанья фактический житель социализма. Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной!

Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню.

И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, дабы приблизить срок бутовой кладки и остального зодчества.

— Как урод я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу,— сказал Жачев.— Вам ведь так и так все равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто, лучше любите что-нибудь маленькое живое и отравливайте себя трудом. Существуйте пока что!

Ввиду прохладного времени, Жачев заставил мужика снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик всю свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время греться.

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы.

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: «Христос воскресе, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам в гости. Твоя сестра Аня».

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?» — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу — он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность.

Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость, они, наверно, гуляли и ожидали звездного вечера.

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.

— Вот к тебе, Прушевский,— сказал Чиклин.— Он просит отдать гробы ихней деревне.

— Какие гробы?

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни.

— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голо-

сом.— Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай гробы!

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было отрыто сто пустых гробов; два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.

— Отдайте мужику остальные гробы,— ответил Прушевский.

— Все отдавай,— сказал человек.— Нам не хватает мертвого инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!

— Нет,— произнес Чиклин.— Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные.

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился:

— Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть.

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в контору.

— Елисей,— сказал он полуголому.— Я их тесемками в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит!

— Не устерег двух гробов,— высказался Елисей.— Во что теперь сам ляжешь?

— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил, умру — пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоминал забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза.

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над

краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился; он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножиях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле.

— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.

— Нет, дочка,— ответил Чиклин.— Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам.

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.

— А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить.

— И один был голый! — произнесла девочка.— Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама тоже голая лежит.

— Ты права, девочка, на все сто процентов,— решил Сафронов.— Два кулака от нас сейчас удалились.

— Убей их пойди! — сказала девочка.

— Не разрешается, дочка: две личности это не класс...

— Это один да еще один,— сочла девочка.

— А в целости их было мало,— пожалел Сафронов.— Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

— А с кем останетесь?

— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?

— Да,— ответила девочка.— Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало.

— Ты вполне классовое поколение,— обрадовался Сафронов,— ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.

— От сволочи,— с легкостью догадалась девочка.— Тогда будут только самые-самые главные люди! Моя

мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?

— Правда,— сказал Чиклин.

Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:

— Ты что?

— Так,— сказала девочка, не обращая внимания.— Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас изобью.

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль; он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств.

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую дорогу.

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин Козлов был одет в светло-

серую тройку, имел пополиевшее от какой-то постояниой радости лицо и стал сильио любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку ои иачииал некими самодовлеющими словами: «Ну хорошо, иу прекрасно» — и продолжал. Про себя же любил произиосить: «Где вы теперь, иичтожная фашистка!» И многие другие краткие лозунги-песии.

Сегодия утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одиой средией даме. Оиа тщетио писала ему письма о своем обожаиии, ои же, превозмогая общеcтвеиную нагрузку, молчал, зараиее отказываясь от коифискации ее ласк, потому что искал жеищину более благородного, активиого типа. Прочитав же в газете о загружеииости почты и нечеткости ее работы, ои решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращеиия дамских писем к себе. И ои написал даме последиюю итоговую открытку, складывая с себя ответствеиность любви:

«Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!
Козлов».

Этот стих ои только что прочитал и спешил его ие забыть. Каждый день, просыпаясь, ои вообще читал в постели книги, и, запомиив формулировки, лозуиги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различиых актов, резолюций, строфы песеи и прочее, ои шел в обход оргаиов и оргаиизаций, где его знали и уважали как активиую общественную силу,— и там Козлов пугал и так уже иапугаиных служащих своей иаучностью, кругозором и подковаииостью. Дополиительио к пеисии по первой категории ои обеспечил себе и иатуриое продовольствие.

Зайдя одиажды в кооператив, ои подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему:

— Ну хорошо, иу прекрасио, ио у вас кооператив, как говорится, рочдэлльского вида, а ие советского! Зиачит, вы ие столб со столбовой дороги в социализм?!

— Я вас ие сознаю, граждаиии,— скромио ответил заведующий.

— Так, значит, опять: просил ои, пассивный, не счастья у иеба, а хлеба иасущиого, чериого хлеба! Ну хорошо, ну прекрасио! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одиу декаду стал председателем лавкома этого кооператива. Ои так и ие узиал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, ио и качество яростных...

Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на поприще строительства и стал на краю его, чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им:

— Не будьте оппортунистами на практике!

Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма.

— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафронов.— Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему:

— Заметь, этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!

— Факт! — произнесла девочка.

Здесь и Сафронов определил свое мнение.

— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!

Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам.

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем, потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым среди чужих.

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец.

Маточное место для дома будущей жизни было готово; теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социали-

стические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды?

— Нет,— ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола,— разройте маточный котлован вчетверо больше.

Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол.

— Не стоило нагибаться,— сказал главный.— На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда.

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии.

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте,— и тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой.

— В шесть раз больше,— указал он Прушевскому.— Я говорил, что темп тих!

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза.

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и второй гроб, а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, прижав к себе, нес другой рукой гроб.

— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодовала Настя.— Мне некуда будет вещи складывать!

— Так уж надо,— отвечал Чиклин.— Все мертвые это люди особенные.

— Важные какие! — удивлялась Настя.— Отчего ж тогда все живут! Лучше б умерли и стали важными!

— Живут для того, чтоб буржуев не было,— сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Вощев и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик.

— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.

— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали: ну что ты будешь делать?! — с подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением.

Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалившейся телегой.

До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка, в боковой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки — может быть, они скучали, а может быть, замечали въезжавших командированных людей и пугались их. Впереди Чиклина все время ехали подвода с гробами, и он не отрывался от нее.

Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх — на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки.

Чиклин дошел до подводы через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеобщая ветхость бедности покрывала ее — и старческие терпеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находился. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что это обобществленный двор № 7 колхоза имени Генеральной Линии и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе.

— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.

Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей.

— Я пойду сам,— определил Чиклин.

— Ступай,— ответил активист.— Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю.

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье

строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно поглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно замирал на мгновение от тоски жизни — тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал воспоминание, что он головотяп и упущенец,— так его называли иногда в бумагах из района. «Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в общей, руководимой жизни?» — решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображением земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие, железные руки,— неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь.

— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину.— Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья: видишь, как падает наш героический брат!

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не побоялись бы так же умереть.

Чиклин встал у подножия скончавшихся и спокойно

засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию.

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал их рукой.

— Что, Козлов, скучно тебе?

Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать — отчего ж это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?

— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону.

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей

подошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами.

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь, как ты; стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать...

Елисей не мог понимать и слушать одни звуки сквозь чистое стекло.

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!

Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им:

— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!.. Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.

— Это ты убил их? — спросил Чиклин.

Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.

— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.

Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей; грачи ему дали дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гриб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.

— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?

— Так себе,— сказал Елисей.

— Тогда — иичего,— покойио произнес пишущий мужик.— А мертвых ие обмывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный иивалид не приехал на тележке, он меня рукой троиет, что я жив, а двое умерли.

Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обиаружить тем свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, ие зиая, где ему лучше всего иаходиться.

Чиклии ие возражал, пока мужик сиимал с погибших одежду и носил их поочередио в голом состояиии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, сиова одел и положил оба тела иа стол.

— Ну, прекрасио,— сказал Чиклии.— А кто ж их убил?

— Нам, товарищ Чиклии, неизвестио, мы сами живем иечаяиио.

— Нечаяиио! — произиес Чиклии и сделал мужику удар в лицо, чтоб ои стал жить созиательно. Мужик было упал, ио побоялся далеко уклоияться, дабы Чиклии ие подумал про иего чего-иибудь зажиточиого, и еще ближе предстал перед иим, желая посильиее изувечиться, и затем исходатайствовать себе посредством мучеиья право жизии бедияка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двииул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.

Елисей, стоявший тихо в стороие, сказал вскоре Чиклииу, что мужик стих.

— А тебе жалко его? — спросил Чиклии.

— Нет,— ответил Елисей.

— Положь его в середку между моими товарищами.

Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежиих мертвых, а уж потом приуоровил как следует, уложив его тесио близ боков Сафроиова и Козлова. Когда Елисей отошел обратио, то мужик открыл свои желтые глаза, ио уже ие мог их закрыть и так остался глядеть.

— Баба-то есть у иего? — спросил Чиклин Елисея.

— Одии находился,— ответил Елисей.

— Зачем же ои был?

— Не быть он боялся.

Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб ои шел — его требует актив.

— На тебе рубль,— дал поскорее деньги Елисею Чиклии.— Ступай на котловаи и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей коифет. У меия сердце по ней заболело.

Активист сидел с тремя своими помощииками, похудев-

шими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.

— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев.

— Пролетариату полагается движение,— произнес активист,— а что навстречу попадается, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь.

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.

— Все равно бы я его обнаружил через полчаса,— сказал активист.— У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!

— Того я закончил,— объяснил Чиклин.— Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.

— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре

на земле иаступила сплошная тьма, усилеииая чериотой почвы, растоптаииой бродящими массами; ио верх был еще светел — среди сырости неслышиого ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солица и отражалось на последней листве склоиившихся в тишиие садов. Люди ие желали быть виутри изб — там иа иих иападали думы и настроеиия — оии ходили по всем открытым местам деревии и старались постояиио видеть друг друга; кроме того, оии чутко слушали — ие раздастся ли издали по влажиому воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешеиие в таком трудиом простраистве. Активист еще давио пустил устиую директиву о соблюдении саиитариости в иародной жизии, для чего люди должиы все время иаходиться на улице, а ие задыхаться в семейиых избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.

Активист тоже успел заметить эту вечериюю желтую зарю, похожую иа свет погребеиия, и решил завтра же с утра назначить звездиый поход колхозиых пешеходов в окрестиые, жмущиеся к едииоличию деревии, а затем объявить иародиые игры.

Председатель сельсовета, середияцкий старичок, подошел было к активисту за каким-иибудь распоряжеиием, потому что боялся бездействовать, ио активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задиие завоеваиия актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с благодариостью успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.

Вощев боялся иочей, ои в иих лежал без сиа и сомиевался; его осиовиое чувство жизни стремилось к чему-либо иадлежащему иа свете, и тайиая иадежда мысли обещала ему далекое спасеиие от безвестиости всеобщего существоваиия. Ои шел иа иочлег рядом с Чиклииым и беспокоился, что тот сейчас ляжет и засиет, а ои будет один смотреть глазами во мрак над колхозом.

— Ты сегодия, Чиклии, ие спи, а то я чего-то боюсь.

— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшеи,— я его убью.

— Мие страшиа сердечиая озадачеииость, товарищ Чиклии. Я и сам ие зиаю что. Мие все кажется, что вдалеке есть что-то особеииое или роскошиый иесбыточный предмет, и я печальио живу.

— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, ие горюй.

— Когда, товарищ Чиклин?

— А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто...

На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие бедняки производили обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком,— это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него имелось выражение чуждости на лице.

Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, дотоле он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.

— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.

— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.

— Тебе же все равно где жить,— сказал Чиклин,— лишь бы не умереть.

— Это ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что ж, я и буду!..

Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину письмо от Прушевского. Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила советское государство и собирает для него утильсырье; сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами.

«Мне довольно трудно,— писал товарищ Прушевский,— и я боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе ее бумажку».

Настя писала Чиклину:

«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов.

Привет бедному колхозу, а кулакам нет».

Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача; потом он направился спать.

В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую лампу. Нашедший Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра.

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места.

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окружающего беднячества и показать ему свойство колхоза путем призвания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться.

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом.

— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про этот остужающий вечер природы.

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Вощев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги.

— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уединенный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник

выражался через него.— У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?

— Дай ему! — сказал Чиклин Вощеву.

Вощев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался.

Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни.

— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.

— Они потому и идут, что босые,— сказал Чиклин.— А радоваться им нечего; колхоз ведь житейское дело.

— Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь.

— В тебе ум бедняка,— ответил Чиклин.— Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существования.

Активист находился здесь же на Оргдворе; прошедшая ночь прошла для него задаром — директива не спустилась на колхоз, и он опустил течение мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия — поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность.

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые

лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади.

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.

Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.

Далее лошадиного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом земном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.

— Ты чего? — спросил ее Чиклин.

— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще заплакала.

— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.

— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-нибудь настанет-то?

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко склонился к нему.

— Ты что — дышишь?

— Как вспомню, так вздохну,— слабо ответил человек.

— А если забудешь дышать?

— Тогда помру.

— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть,— сказал Вощев лежачему.

Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.

— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет.

— Пусть лучше плачет, ему милее будет,— посоветовал Вощев.

— Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать — власть будет пугаться. Я-то нарочно, вот правда истинная — вы люди, видать, хорошие,— я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал,— как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба, плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием...

— Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности? — обратился Вощев.

— Да как вот перестал меня женой знать, так и почитай, что с тех пор.

— У него душа — лошадь,— сказал Чиклин.— Пускай он теперь порожняком поживет, а его ветер продует.

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Вощев и Чиклин ушли в дверь.

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

— А теперь он похолодал,— сказал Вощев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая, чтущая меня сила,— между делом думал лежачий,— все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись».

— Как будто опять потеплел,— обнаруживал Вощев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила,— произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами,

чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят,— сказал Вощев мужику.

— Не буду,— согласно ответил лежачий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает,— пощупал Вощев шею мужику.

— Туши лампаду,— сказал Чиклин.— Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где никакой скупости на революцию.

Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встретили активиста — он шел в избу-читальню по делам культурной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализма.

В избе-читальне стояли заранее организованные кол хозные женщины и девушки.

— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении.— А теперь мы повторим букву «а», слушайте мои сообщения и пишите...

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на «а»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна,— оценил активист.— Пишите систематично эти слова.

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и нача ли настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябающей шту катуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Вощев.

Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно?

— Всем,— сказали все.

— Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна!

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места!

— Бюрократизм забыла,— определил активист.— Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь — трубку прикури...

— Давай я схожу,— сказал Чиклин.— Не отрывай народ от ума.

Активист втолок в трубку лопушиные крошки, и Чиклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уж начиналась пустынность осени и вечное примиренчество природы. Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лозины, стынущие в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить.

Близ церкви росла старая забвенная трава и не было тропинок или прочих человеческих проходных следов — значит, люди давно не молились в храме. Чиклин прошел к церкви по гуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу; но и он не испугался Чиклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть в темноте осени.

В храме горели многие свечи; свет молчаливого, печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудья купола, и чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того спокойного света,— но храм был пуст.

Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было — на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подошел к нему.

— От товарища активиста пришли? — спросил курящий.

— А тебе что?

— Все равно я по трубке вижу.

— А ты кто?

— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди!

Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную как на девушке.

— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят, говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожия приняли.

— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? — спросил Чиклин.

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:

— А я свечки народу продаю — ты видишь, вся зала горит! Средства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора.

— Не бреши: где же тут богомольный народ?

— Народу тут быть не может,— сообщил поп.— Народ только свечку покупает и ставит ее богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.

— Чиклин яростно вздохнул и спросил еще:

— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая?

Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить.

— Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скорописью в поминальный листок...

— Говори скорей и дальше! — сказал Чиклин.

— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело перед небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких святителей,— те листки я каждую полуночь лично сопровождаю к товарищу активисту.

— Подойди ко мне вплоть,— сказал Чиклин.

Поп готовно опустился с порожек амвона.

— Зажмурься, паскудный.

Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу созидательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении.

— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно,— разумно ответил поп.— Я не чувствую больше прелести творения — я остался без бога, а бог без человека...

Сказав последние слова, поп склонился на землю и

стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокстротной головой.

В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали лошади.

Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала.

— Собрание учредителей,— сказал он со смирением.

Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла было баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но, увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку.

Организационный Двор покрылся сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто еще был маломочен по сознанию или имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз.

Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью наблюдал движение жизненной массы на сырой вечерней земле; он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно рвалась вперед в невидимое будущее; ибо все равно земля для них была пуста и тревожна; он втайне дарил городские конфеты ребятишкам неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил взять установку на женитьбу, тем более что тогда лучше выявятся женщины. И сейчас чей-то малый ребенок стоял около активиста и глядел на его лицо.

— Ты чего взарился? — спросил активист.— На тебе конфетку.

Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало.

— Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету?

Активист без ответа погладил голову мальчика; ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету — она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту.

— Сам доедай, у ней в середке вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!

Активист улыбнулся с проницательным сознанием, он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма, добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень. Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам Оргдвора и складывали их в штабель — им заранее активист дал указание на этот труд.

Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около оврага, понес его к Оргдвору: пусть идет больше пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг.

— Ну как же будем, граждане? — произнес активист в вещество народа, находившегося пред ним.— Вы что ж, опять капитализм сеять собираетесь иль опомнились?..

Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали реже расти; неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную душу, но один сподручный актива научил их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали свою мысль оттуда, но сердце билось легко и грустно, как порожнее, и ничего не отвечало. Стоявшие люди ни на мгновенье не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего человека со всем желаньем в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение.

Чиклин и Вощев к тому времени уже управились с доставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнце не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями; тишина распространялась сейчас по всему видимому свету, только топор Чиклина звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельнице и в плетнях.

— Ну что же! — терпеливо сказал активист сверху.— Иль вы так и будете стоять между капитализмом и коммунизмом: ведь уж пора тронуться — у нас в районе четырнадцатый пленум идет!

— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять,— попросили задние мужики,— может, мы обвыкнемся: нам главное дело привычка, а то мы все стерпим.

— Ну стойте, пока беднота сидит,— разрешил активист.— Все равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить бревна в один блок.

— А к чему же те бревна-то ладят, товарищ активист? — спросил задний середняк.

— А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее...

Вынув поминальные листки и классово-расслоечную ведомость, активист стал метить знаки по бумагам; а каран-

даш у него был разиоцветиый, и он применял то сиинй, то красиый цвет, а то просто вздыхал и думал, ие кладя знаков до своего решеиия. Стоячие мужики открыли рты и глядели иа караидаш с томлеиием слабой души, которая появилась у иих из последиих остатков имущества, потому что стала мучиться. Чиклии и Вощев тесали в два топора сразу, и бревиа у иих складывались одио к другому вплоть, осиовывая сверху просторное место.

Ближиий середияк прислоиился головой к крыльцу и стоял в таком покое иекоторое время.

— Товарищ актив, а товарищ!..

— Говори ясио,— предложил середняку активист между своим делом.

— Дозволь иам горе горевать в остатиюю ночь, а уж тогда мы век с тобой будем радоваться!

Активист кратко подумал.

— Ночь — это долго. Кругом иас темпы по округу идут, горюйте, пока плот ие готов.

— Ну хоть до плота, и то радость,— сказал средиий мужик и заплакал, ие теряя времеии последиего горя. Бабы, стоявшие за плетием Оргдвора, враз взвыли во все задушевиые свои голоса, так что Чиклии и Вощев перестали рубить дерево топорами. Оргаиизоваиная члеиская бедиота подиялась с земли, довольиая, что ей горевать ие приходится, и ушла смотреть иа свое общее, насущное имущество деревии.

— Отвериись и ты от иас на краткое время,— попросили активиста два середняка.— Дай иам тебя ие видеть.

Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадиостью иачал писать рапорт о точиом исполиеиии мероприятия по сплошиой коллективизации и о ликвидации посредством сплава иа плоту кулака как класса; при этом активист ие мог поставить после слова «кулака» запятую, так как и в директиве ее ие было. Дальше ои попросил себе из райоиа иовую боевую компаиию, чтоб местиый актив работал бесперебойио и четко чертил дорогую геиеральиую лииию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постаиовлеиии самым идеологичиым во всей райоииой иадстройке, но это желаиие утихло в ием без последствий, потому что ои вспомиил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умиейший человек иа даиином этапе села, и, услышав его, одии мужик объявил себя бабой.

Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мучеиья

из деревнн; вошедшнй человек стер мокроту с одежды, а потом сказал:

— Товарнщ актнв, там сиег пошел н холод дует.

— Пускай идет, нам-то что?

— Нам — ничего, нам хоть что нн случнсь — мы управнмся! — вполне согласился явнвшнйся пожнлой бедняк. Ои был постоянно удивлен, что еще жнв на свете, потому что иичего не нмел, кроме овощей с дворового огорода н бедняцкой льготы, н не мог инкак добнться высшей, довольной жнзин.

— Ты мне, товарищ главный, скажн иа утеху: пнсаться мие в колхоз на покой нль обождать?

— Пишнсь, конечно, а то в океан пошлю!

— Бедняку ннгде не страшио; я б давно записался, только зою сеять боюсь.

— Какую зою? Еслн сою, то она ведь официальиый злак!

— Ее, стерву.

— Ну, не сей — я учту твою психологню.

— Учтн, пожалуйста.

Записав бедняка в колхоз, актнвист выиужден был дать ему квнтанцню в прнеме в членство и в том, что в колхозе не будет зои, н выдумать здесь же надлежащую форму для этой квнтанцнн, так как бедняк ннпочем ие уходнл без нее.

Снаружи в то время все гуще падал холодный снег: земля от снега стала смнрней, но звуки середняцкого настроения мешалн наступнть сплошной тишние. Старый пахарь Иван Семеновнч Крестиинн целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал нх прочь нз почвы, а его баба прнчитала над голыми веткамн.

— Не плачь, старуха,— говорнл Крестнннн.— Ты в колхозе мужнковской давалкой стаиешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плеи!

Баба, услышав мужнне слова, так н покатилась по земле, а другая женщниа — не то старая девка, не то вдовуха — сиачала бежала по улице и голоснла таким агнтнрующнм, моиашьнм голосом, что Чнклниу захотелось в нее стрелять, а потом она увндела, как крестинннская баба катнтся поннзу, н тоже броснлась навзничь и забнла ногами в суконных чулках.

Ночь покрыла весь деревеискнй масштаб, снег сделал воздух непроинцаемым н тесиым, в котором задыхалась грудь, ио все же бабы вскрнкнвали повсеместио и, привыкая к горю, держали постояиный вой. Собакн н другие мел-

кие нервные животные тоже поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в предбаннике; средние же и высшие мужики молча работали по дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у раскрытых настежь ворот. Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою в скорбь.

— Жива ли ты, кормилица?

Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову; один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте.

— Значит, ты умерла? Ну, ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду,— сказал хозяин двора.

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела — она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться.

Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также нака-

зывали ее кушать; говядину в то краткое время ели, как причастие,— есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой.

Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете или, быть может, она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул ветер в ничто.

Активист видел с Оргдвора, что плот не готов; однако он должен был завтрашним утром отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем неорганизованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали и высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно, готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке,— от этого собственного света он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью.

— Готовы, что ль? — спросил активист.

— Подожди,— сказал Чиклин активисту.— Пусть они попрощаются до будущей жизни.

Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:

— Дай нам еще одно мгновенье времени!

И, сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семеныч!

— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жалости.

— Ну, давай, Степан, побратаемся.

— Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести.

После целованья люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

— Теперь мы, товарищ актив, готовы, пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем.

Но активист еще прежде обозначил всех жителей — кого в колхоз, а кого на плот.

— Иль сознательность в вас заговорила? — сказал он.— Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она, четкая линия в будущий свет!

Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста — ночь и без керосина была светла от свежего снега.

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.

— Хорошо,— сказали со всего Оргдвора.— Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался.

Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, тогда он встал со снега и вошел в среду людей.

— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись.— Вы стали теперь, как я, я тоже ничто.

— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.

Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли вместе снизу; он опустился на землю, разжег костер из плетневого материала, и все начали согреваться от огня.

Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил слова, только слышалось, как по-старинному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в постоянной вечности.

Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой, сердечной груди.

— Не замучил ребенка-то? — спросил Чиклин.

— Я не смею,— сказал Елисей.

Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем; она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда, и если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться наутро, когда оно настанет без него.

Чиклин взял девочку на руки.

— Тебе ничего было?

— Ничего,— сказала Настя.— А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз!

Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей шее и пошел раскулачивать.

— Жачев-то не обижал тебя?

— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!

— Да пожалуй, что и не обидит! — сказал Чиклин и обратил внимание на многолюдство. Посторонний, пришлый народ расположился кучами и малыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близ ночного, померкшего костра. По колхозной улице также находились нездешние люди; они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили Елисея и спрашивали его:

— Где же колхозное благо — иль мы даром шли? Долго ли нам бродить без остановки?

— Раз вас привели, то актив знает,— ответил Елисей.

— А твой актив спит, должно быть?

— Актив спать не может,— сказал Елисей.

Активист вышел на крыльцо со своими сподручными, и рядом с ним был Прушевский, а Жачев полз позади всех. Прушевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому что Елисей проходил вчера мимо котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной революции, ибо без ума организованные люди жить не должны, а Жачев отправился к своему желанию как урод, и поэтому они явились втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе.

— Ступайте скорее плот кончайте,— сказал Чиклин Прушевскому,— а я скоро обратно к вам поспею.

Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне и получает пищу и приварок как кузнец второй руки; однако этот молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и профсоюзная линия, получая сообщения об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась. Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно скорее избавить его от угнетения.

Около кузницы стоял автомобиль и жег бензин на одном месте. С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнаружить здесь остаточного батрака и, снабдив его лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей не дошли до кузни, как товарищ Пашкин уже вышел из помещения и отбыл на машине обратно, опустив только голову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга товарища Пашкина из машины не выходила вовсе: она лишь берегла своего любимого человека от встречных женщин, обожающих власть ее мужа и принимавших твердость его руководства за силу любви, которую он может им дать.

Чиклин с Настей на руках вошел в кузню; Елисей же остался постоять наружи. Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне.

— Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! — сказал кузнец.

Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал.

— Ну, теперь будя! — определил кузнец.

Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды полведра воды. Утеряв затем свое утомленно-пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза.

— Миш, это надо кончить поживей: вечером хозяин принесет — жидкость будет! — И кузнец показал на свою шею, как на трубу для водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с большей охотой начал делать подкову.— А ты, человек, зачем пришел? — спросил кузнец у Чиклина.

— Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят, у него стаж велик.

Кузнец размышлял немного о чем-то и сказал:

— А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне есть промфинплан, а ты его срываешь!

— Согласовал вполне,— ответил Чиклин.— А если план твой сорвется, так я сам приду к тебе его подымать... Ты слыхал про араратскую гору — так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место!

— Нехай тогда идет,— выразился кузнец про медведя.— Ступай на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб Мишка обеденное время услыхал, а то он не тронется — он у нас дисциплину обожает.

Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев.

— Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? — говорила Настя.

— А то как же! — отвечал Чиклин.

Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд — до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул: шабаш, дескать. Опустив лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей.

— Смотри, Чиклин, он весь седой!

— Жил с людьми — вот и поседел от горя.

Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него, и, дождавшись, зажмурил для нее один глаз; Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу так, что у него что-то там забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на малолетнюю внимания.

Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверзтыми тлеющими туловищами — и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух, в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чиклин и молотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали.

Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче,— какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с настроением природы; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей было хорошо, что животное тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг — чего бы это схватить или выломать ей для подарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи, кроме глино-соломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету — они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице,— мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.

— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.

— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин.

Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще:

— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет.

Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.

— Кулачество! — сказал Чиклин и, вошедши на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу.

Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хозяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мякиной, лежали четыре или больше мертвые овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи: они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него.

Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных

скважииах убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяиой земле, и мухи жили там вполне иормально. Чнклиму стало тяжко в большом сарае, ему казалось, что здесь топятся баиные печи, а Настя зажмурила от вонн глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и иету четырех времеи года, про какие ей рассказывал Прушевскнй на котловане, когда иа пустых осеннних полях прекратилось пеиие птиц.

Молотобоец пошел нз сарая в нзбу и, заревев в сенях враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейиые катушки.

Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку; мальчншка дулся иа горшке, а мать его, присев, разгиездилась средн горннцы, будто все вещество нз нее опустилось вииз; она уже ие крнчала, а только открыла рот и старалась дышать.

— Мужик, а мужик! — иачала звать оиа, ие двнгаясь от иемощи горя.

— Чего? — отозвался голос с печки; потом там заскрипел рассохшийся гроб и вылез хозяни.

— Пришли,— сказывала постепеино баба,— иди встречай... Головушка моя горькая!

— Прочь! — приказал Чиклии всему семейству.

Молотобоец попробовал мальчишку за ухо, и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на иизкую посуду.

Мальчик стоял в одиой рубашке и, соображая, глядел иа сидящего медведя.

— Дядь, отдай какашку! — попросил ои, но молотобоец тихо зарычал иа иего, тужась от иеудобиого положення.

— Прочь! — произиес Чиклии кулацкому иаселению.

Медведь, ие трогаясь с горшка, издал из пасти звук, и зажиточиый ответил:

— Не шумите, хозяева, мы сами уйдем.

Молотобоец вспомиил, как в старииные года ои корчевал пии иа угодьях этого мужика и ел траву от безмолвиого голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером — что оставалось от свиией, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сие. Вспомиив такое, медведь подиялся с посуды, обиял поудобией тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло иажитое сало и пот, закричал ему в голову на разиые голоса — от злобы и иаслышки молотобоец мог почти разговаривать.

Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел как есть на улицу и уже прошел мимо окна сиа-

ружи,— только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватнл горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью.

— Он очень хитрый,— сказала Настя про этого мальчнка, унесшего свой горшок.

Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один.

— Ты чего, милый, явнлся? — спроснл ласковый спокойный мужик.

— Уходн прочь! — ответил Чнклнн.

— А что, ай я чем не угодил?

— Нам колхоз нужен, не разлагай его!

Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе.

— Колхоз вам не годится...

— Прочь, гада!

— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!

У Чиклина захватило дыханне, он бросился к двери и открыл ее, чтоб видна была свобода,— он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассуднтельного мужика, чтобы тот не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса.

— Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, н можем сшибить его одним вздохом... А ты исчезни!

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег, мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.

— Лнквидировали?! — сказал он из снега.— Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет однн ваш главный человек!

Через четыре двора молотобоец опять ненавистно заревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужнчншка заставнл на мельннце работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам

скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты.

— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молотобойцу.

Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился.

— Опорожняй батрацкое имущество! — сказал Чиклин лежачему.— Прочь с колхоза и не сметь более жить на свете!

Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился.

— А ты покажь мне бумажку, что ты действительно лицо!

— Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин.— Я никто; у нас партия — вот лицо!

— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.

Чиклин скудно улыбнулся.

— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плот, капитализм, сволочь!

— Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там, правда ведь? — произнесла Настя.— Со сволочью нам скучно будет!

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы.

Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин так же одобрил активиста.

— Ты сознательный молодец,— сказал он,— ты чуешь классы, как животное.

Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи; одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого, обгорелого, как человека.

Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью.

— Гадость ты,— говорил ему Жачев.— Чего глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее — жми друг дружку, а деньги в кружку! Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот чего мне жалко!

По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок.

Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную, мертвую воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину.

Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.

— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства.

Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио, и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась музыка, вышел на среднее место, вдарил подошвой и затанцевал по земле, ничуть при этом не сгибаясь и не моргая белыми глазами; он ходил как стержень — один среди стоячих, — четко работая костями и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать вокруг друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе местных девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а для своего угощенья целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший

темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать.

Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба.

Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где мухами, весь народ товарищески торжествовал. Давно живущие на свете люди и те стронулись и топтались, не помня себя.

— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту.— Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

— Она девка или вдова? — спросил на ходу таинственный гость.

— Девка! — объяснил двигающийся мужик.— Аль не видишь, как мудрит?!

— Пускай ей помудрится! — согласился тот же пришлый гость.— Пускай посдобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!

Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему мешали, а гостевому мужику, желавшему девочку-эсесершу выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, чтоб он не надеялся.

— Не сметь думать что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!

Гость уж испугался, что он явился сюда.

— Боле, товарищ калека, ничто не подумаю. Я теперь шептать буду.

Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность замершего света и покорный сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и мученья, что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше.

— Настя, ты не стынь долго, иди ко мне,— позвал Чиклин.

— Я нисколько не озябла, тут ведь дышат,— сказала Настя, бегая от ласково ревущего Жачева.

— Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты маленькая!

— Я уже их терла: сиди молчи!

Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал:

— Стой до очередного звука!

Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.

— Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое корье!..

И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об ивово-корьевой кампании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним совершилось в прошлый раз, когда он забыл про организацию для кустарника, а теперь весь колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал чинить радио, и прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась работа, потому что он не был уверен — представит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос.

Полночь, наверно, была уже близка; луна высоко находилась над плетнями и над смирной старческой деревней, и мертвые лопухи блестели, покрытые мелким смерзшимся снегом. Одна заблудившаяся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторвалась и полетела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем.

Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего человека.

— Жачев! — сказал Чиклин.— Ступай прекрати движенье, умерли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут.

Жачев уполз с Настей в Оргдом и, устроив ее там спать, выбрался обратно.

— Эй, организованные, достаточно вам танцевать: обрадовались, сволочь!

Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топтался, покрывая себя песней.

— Заработать от меня захотели? Сейчас получите!

Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящихся ног и начал спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны; Жачев даже сожалел, что они, наверно, не чувствуют его рук и враз замолкают.

— Где же Вощев? — беспокоился Чиклин.— Чего он ищет вдалеке, мелкий пролетарий?

Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца, и нигде не было заметно человека, лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да изредка покашливал кузнец.

Тихо было кругом и прекрасно. Чиклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше не увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверно, молотобоец будет бить по подковам и шинному железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье: весь же точный смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпелива.

Чиклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота, потом осмотрел уличный порядок — цело ли все, и, заметив пропадающий на дороге армяк, поднял его и снес в сени ближней избы: пусть хранится для трудового блага.

Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чиклин пошел по дворовым задам — смотреть Вощева дальше. Он перелезал через плетневые устройства, проходил мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загородок сразу начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело может застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнущего детства: только такие, как молотобоец, могли вытерпеть здесь свою жизнь, и то поседели от нее. «Я еще не рожался, а ты уж лежала, бедная, неподвижная моя! — сказал вблизи голос Вощева, человека.— Значит, ты давно терпишь: иди греться!»

Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был уже полон.

— Ты чего, Вощев?

— Так,— сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз.

Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склонилась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река шевелилась в обжитых сельских берегах.

Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдворе горел огонь безопасности — одна лампа на всю потухшую деревню; у лампы сидел активист за умственным трудом, он чертил графы ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-середняцкого благоустройства, чтоб уже была вечная формальная картина и опыт как основа.

— Запиши и мое добро! — попросил Вощев, распаковывая мешок.

Он собрал по деревне все нищие отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине.

Активист стал записывать прибывшие с Вощевым вещи, организовав особую боковую графу под названием «перечень ликвидированного насмерть кулака как класса пролетариата, согласно имущественно-выморочного остатка». Вместо людей активист записывал признаки существования: лапоть прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину из рядна и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела.

К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, сумел нечаянно разбудить девочку.

— Отверни рот: ты зубы, дурак, не чистишь,— сказала Настя загородившему ее от дверного холода инвалиду.— И так у тебя буржуи ноги отрезали, ты хочешь, чтоб и зубы попадали?

Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Девочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась.

— Это утильсырье принесли? — спросила она про мешок Вощева.

— Нет,— сказал Чиклин,— это тебе игрушки собрали. Вставай выбирать.

Настя встала в свой рост, потопталась для развития и,

опустившись на месте, обхватила раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чиклин составил ей лампу со стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что ей понравится; активист же и в темноте писал без ошибки.

Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество безродно умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад.

Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по полу в чулках довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение рек идет лишь в пучины морские, и уплывшие на плоту не вернутся мучить молотобойца — Михаила; те же безымянные люди, от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и подняться они не могут.

— Прушевский,— обратился Чиклин.

— Я,— ответил инженер, он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ничего не писала; если она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком, это одинаково, что умереть теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за сестру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если жива.

— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?

— Нет,— сказал Прушевский.

— Врешь,— упрекнул Жачев, не открывая глаз.— Марксизм все сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу,— сообщил Жачев.— Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен кое-что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!

— Ты дурак потому что,— объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках,— ты только видишь, а надо трудиться. Правда ведь, дядя Вощев?

Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни.

— Неизвестно,— ответил Вощев Насте.— Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь!

Настя осталась недовольна.

— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев, сторожи меня опять, я спать захотела.

— Иди, девочка,— отозвался Жачев.— Иди ко мне от подкулачника: он заработать захотел — завтра получит!

Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал про себя: «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уж целыми эшелонами население в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх,горе!»

Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-пережиток.

— Входи, заседанья нету,— сказал активист.

— Да то-то,— ответил оттуда человек, не входя.— А я думал, вы думаете.

— Входи, не раздражай меня,— промолвил Жачев.

Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови, и окреп от привычки быть организованным.

— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь колхоз глаза открыл, нам без тебя жутко стало!

— Надо пойти справиться,— решил активист.

— Я сам схожу,— определил Чиклин.— Сиди записывай получше: твое дело — учет.

— Это пока я дурак! — предупредил активиста Жачев.— Но скоро мы всех разактивим: дай только массам измучиться, дай детям подрасти!

Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним, бескорыстно светили звезды над снежной чистотою земли и широко раздавались удары молотобойца, точно медведь застыдился спать под этими ожидающими звездами и отвечал им чем мог. «Медведь — правильный пролетарский старик»,— мысленно уважал Чиклин. Далее молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая вслух какую-то счастливую песню.

Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность, в горне горел дующий огонь, кото-

рый поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехом. А молотобоец, вполне довольный, ковал горячее шинное железо и пел песню.

— Ну никак заснуть не дает,— пожаловался кузнец.— Встал, разревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать... Всегда был покоен, а нынче как с ума сошел!

— Отчего ж такое? — спросил Чиклин.

— Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему бурчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще проходил один подактивный — взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает чего-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там останавливается...

— Ну, ты спи, а я подую,— сказал Чиклин. Взяв веревку, он стал качать воздух в горн, чтоб медведь готовил шины на колеса для колхозной езды.

Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Вощев также явились со всеми совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузни висел на плетне возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее».

Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом опять всаживал молот в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно крякали во время звука кувалды, чтоб шины были прочней и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет:

— Ты, Миш, бей с отжошкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет. А ты лучше по железу, как по стерве, а оно ведь тоже добро! Так — не дело!

Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть порчи.

— Слабже бей, черт! — загудели они.— Не гадь всеобщего: теперь имущество что сирота, пожалеть некому... Да тише ты, домовой!

— Что ты так содншь по железу?! Что оно — еднноличное, что ль?

— Выйди остынь, дьявол! Уморись, ндол шерстяной!

— Вычеркнуть его надо из колхоза, и боле ничего. Аль нам убытки терпеть иа самом-то деле!

Но Чиклии дул воздух в горие, а молотобоец старался поспеть за огием и крушил железо как врага жизии, будто если иет кулачества, так медведь одии есть иа свете.

— Ведь это же горе! — вздыхали члены колхоза.

— Вот грех-то: все теперь лопиет! Все железо в скважинах будет!

— Наказаиие господие... А троиуть его нельзя — скажут, бедияк, пролетариат, иидустриализация!..

— Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда иам за иего плохо будет.

— Кадр — пустяк. Вот если ииструктор приедет либо сам товарнщ Пашкии, н тогда нам будет жара!

— А может, ничего ие стаиет? Может — бить?

— Что ты, осатанел, что ли? Он — союзный: иамедии товарищ Пашкии специальио приезжал — ему ведь тоже скучио без батраков.

А Елисей говорнл меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда имел, так иочей ие спал — все следил, как бы что ие погнбло, как бы лошадь ие опилась, не объелась, да корова чтоб настроеиие имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешиий мир отдаи его заботе, потому что иа других иадеяться ои опасался, теперь у иего уже загодя болел живот от страха такого имущества.

— Все усохнем! — произнес молча проживший всю революцию середияк.— Раньше за свое семейство боялся, а теперь каждого береги — это иас вовсе замучает за такое иждивеиие.

Вощеву грустио стало, что зверь так труднтся, будто чует смысл жизни вблизи, а ои стоит на покое и ие пробивается в дверь будущего: может быть, там действительио что-ннбудь есть. Чиклии к этому времеии уже кончил дуть воздух н заиялся с медведем готовить бороиьи зубья. Не созиавая ии иаблюдавшего народа, нн всего кругозора, двое мастеровых иеустанно работали по чувству совести, как и быть должио. Молотобоец ковал зубья, а Чиклни их закаливал, ио в точиости не зиал временн, сколько иужио держать в воде зубья без перекалки.

— А если зуб иа камеиь иаскочит?! — стеиая, произиес Елисей.— Если ои на твердь какую-либо заедет — ведь пополам зубок будет!

— Вынай, дьявол, железку из жидкого! — воскликнул колхоз.— Не мучай матерьял!

Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали трудиться над железными предметами с тою тщательной жадностью, когда прок более необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запомнить побелить,— спокойно думал Елисей за трудом.— А то стоит черная — разве это хозяйское заведение?»

— Дайте, я буду веревку все время дергать,— попросил Вощев у Елисея.— У вас воздух в горно тихо идет.

— Ну, дергай,— согласился Елисей.— Только не шибко — веревка теперь дорога, а к новым мехам тоже с колхозной сумкой не подойдешь!

— Я буду потихоньку,— сказал Вощев и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в терпенье труда.

Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему району. Лампа же все еще горела в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел.

Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле в избах; они, в общем, равнодушно относились к тревоге отцов, им было неинтересно их мученье, и они жили как чужие в деревне, словно томились любовью к чему-то дальнему. И домашнюю нужду они переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответного счастья, но которое все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходили в избу-читальню и там оставались не евши весь день, учась письму и чтению, счету чисел, привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушевский один остался в стороне, когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был у плетня. Он не знал, зачем его прислали в эту деревню, как ему жить забытым среди массы, и решил точно назначить день окончания своего пребывания на земле; вынув книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня: пусть все улягутся спать, окоченелая земля смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и перестанет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, ни милый друг, ни завоевание звезд не превозмогут его душевного оскудения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы,

основанной не на превосходстве и не на телесной любви, и скуку самых далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ. Прушевскому казалось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до самого источника происхождения, до смертельного уничтожения наивности всякой надежды. Но происхождение чувств оставалось волнующим местом жизни, умерев, можно навсегда утратить этот единственно счастливый, истинный район существования, не войдя в него. Что же делать, боже мой, если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей надежде?

Прушевский закрыл лицо руками. Пусть разум есть синтез всех чувств, где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, но откуда тревога и движенье? Он этого не знал, он только знал, что старость рассудка есть влеченье к смерти, это единственное его чувство; и тогда он, может быть, замкнет кольцо — он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания.

— Товарищ! Это ты пришел к нам на культурную революцию?

Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой голове; глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке; она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто свое счастье — она чувствовала вблизи несущееся, горячее движение, у нее поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла и просила научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойдет ли с нею ученый человек, и неопределенно смотрела, готовая опять учиться с активистом.

— Я сейчас пойду с вами,— сказал Прушевский.

Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала, чтобы Прушевский не обиделся.

— Идемте,— произнес Прушевский.

Девушка пошла вперед, указывая дорогу иижеиеру, хотя заблудиться было иевозможно; одиако оиа желала быть благодариой, ио не имела ничего для подарка следующему за ией человеку.

Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все наличиое железо на полезиые изделия, починили всякий мертвый иивентарь и с тоскою, что коичился труд и как бы теперь колхоз ие пошел в убыток, оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше — ои вылез недавно поесть сиегу от жажды, и, пока снег таял у иего во рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вииз, иа покой.

Вышедши иаружу, колхоз сел у плетия и стал сидеть, озирая всю деревню, снег же таял под неподвижиыми мужиками. Прекратив трудиться, Вощев опять вдруг задумался иа одиом месте.

— Очнись! — сказал ему Чиклин.— Ляжь с медведем и забудься.

— Истина, товарищ Чиклии, забыться не может...

Чиклии обхватил Вощева поперек и сложил его к спящему молотобойцу.

— Лежи молча,— сказал ои над ним,— медведь дышит, а ты ие можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься! Ишь ты, сволочь какая!

Вощев приник к молотобойцу, согрелся и засиул.

На улице вскочил всадник из райоиа на трепещущем коне.

— Где актив? — крикиул ои сидящему колхозу, ие теряя скорости.

— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз.— Только ие сворачивай ни направо, ни налево!

— Не буду! — закричал всадник, уже отдалившись, и только сумка с директивами билась на его бедре.

Через несколько мииут тот же коииый человек пронесся обратио, размахивая в воздухе сдаточиой киигой, чтоб ветер сушил чериила активистской расписки. Сытая лошадь, разметав сиег и вырвав почву на ходу, срочио скрылась вдалеке.

— Какую лошадь портит, бюрократ! — думал колхоз.— Прямо скучно глядеть.

Чиклии взял в кузнице железиый прут и поиес его ребеику в виде игрушки. Ои любил ей молча прииосить разные предметы, чтобы девочка безмолвио понимала его радость к ией.

Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный рот, невольно и грустно продолжала спать.

Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка — не поврежден ли он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью его тело; но ребенок был весь исправен, только лицо его горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста канула на директиву — Чиклин сейчас же обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через районного всадника законченную ведомость ликвидации классового врага и в ней же сообщил все успехи деятельности; но вот спустилась свежая директива, подписанная почему-то областью через обе головы — района и округа,— и в лежащей директиве отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии; кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по научению подкулацких масс; дескать, войдем в колхозы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства, на нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится.

«По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета,— значилось в конце директивы,— видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искрением, в основном здоровом, середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда».

Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на областную бумагу.

— Что ты, стервец? — спросил его Жачев.

Но активист не ответил ему. Разве он видел радость в последнее время, разве он ел или спал вдосталь или лю-

бил хоть одну бедняцкую девицу? Ои чувствовал себя как в бреду, его сердце еле бнлось от иагрузкн, ои лишь снаружи от себя старался оргаинзовать счастье н хотя бы в перспектнве заслужнть райониый пост.

— Отвечай, паразит, а то сейчас получнншь! — снова проговорнл Жачев.— Наверио, испортил, гад, иашу республику!

Сдериув со стола директиву, Жачев начал личио изучать ее на полу.

— К маме хочу! — сказала Настя, пробуждаясь.

Чнклнн нагнулся к заскучавшему ребенку.

— Мама, девочка, умерла, теперь я остался!

— А зачем ты меня иосишь? Где четыре времеии года? Попробуй, какой у меня страшиый жар под кожей! Сннмн с меия рубашку, а то сгорнт, выздоровлю — ходнть не в чем будет!

Чиклнн попробовал Настю, она была горячая, влажная, костн ее жалобно выступалн изнутрн; насколько окружающий мир должен быть нежен н тих, чтоб она была жнва!

— Накрой меия, я спать хочу. Буду инчего ие поминть, а то болеть ведь грустно, правда?

Чнклни снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того отобрал ватные пнджакн у Жачева и актнвнста и всем этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла глаза, н ей стало легко в тепле н во сне, будто оиа полетела средн прохладного воздуха. За текущее время Настя иемиого подросла н все более походила на мать.

— Я так н знал, что он сволочь,— определнл Жачев про активиста.— Ну что ты тут будешь делать с этнм членом?!

— А что там сообщено? — спроснл Чнклнн.

— Пншут то, что с ннмн нельзя ие согласнться!

— А ты попробуй ие согласись! — в слезах пронзнес актнвный человек.

— Эх, горе мне с революцией,— серьезно опечалнлся Жачев.— Где же ты, самая пущая стерва? Идн, дорогая, получнть от увечного вонна!

Почувствовав мысль и одинчество, не желая безответио тратнть средства на государство и будущее поколенне, актнвнст снял с Настн свой пиджак: раз его устраияют, пусть массы самн греются. И с пнджаком в руке он стал посредн Оргдома — без дальнейшего стремлення к жизнн, весь в крупных слезах н в том сомненнн душн, что капнталнзм, пожалуй, может еще явнться.

— Ты зачем ребеика раскрыл? — спросил Чнклин.— Остуднть хочешь?

— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист.

Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:

— Возьми железку, какую из кузни принес!

— Что ты! — ответил Чиклин. — Я сроду не касался человека мертвым оружием: как ж я тогда справедливость почувствую?

Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая.

— Накрой его! — сказал Чиклин Жачеву. — Пускай ему тепло станет.

Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека — насколько он цел.

— Живой он? — спросил Чиклин.

— Так себе, средний, — радуясь, ответил Жачев. — Да это все равно, товарищ Чиклин: твоя рука работает как кувалда, ты тут ни при чем.

— А он горячего ребенка не раздевай! — с обидой сказал Чиклин. — Мог чаю скипятить и согреться.

В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег для гигиены; мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами, они хотели более чистой зимы.

Отделавшись на Оргдворе, члены колхоза далее трудиться не стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. Несмотря на то что люди уже давно ничего не ели, их и сейчас не тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием еще с прошлых дней. Пользуясь мирно грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным делам.

Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально думал.

— Я опять к маме хочу! — произнесла она, не открывая глаз.

— Нету твоей матери,— не радуясь, сказал Жачев.— От жизни все умирают — остаются одни кости.

— Хочу ее кости! — попросила Настя.— Ктой-то это плачет в колхозе?

Чиклин готовно прислушался; но все было тихо кругом — никто не плакал, не от чего было заплакать. День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное собрание — ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое место, и не был рассчитан на жалобу.

— Это кто? — крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю деревню, чтоб его услышал тот недовольный.

— Это молотобоец скулит,— ответил колхоз, лежавший под навесом.— А ночью он песни рычал.

Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было некому. Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печально в глушь почвы, не соображая своего горя.

— Там медведь о чем-то тоскует,— сказал Чиклин Насте, вернувшись в горницу.

— Позови его ко мне, я тоже тоскую,— попросила Настя.— Неси меня к маме, мне здесь очень жарко!

— Сейчас, Настя. Жачев, ползи за медведем. Все равно ему работать здесь нечего — материала нету!

Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад: медведь сам шел на Оргдвор совместно с Вощевым; при этом Вощев держал его, как слабого, за лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным шагом.

Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежачего активиста и сел равнодушно в углу.

— Взял его в свидетели, что истины нет,— произнес Вощев.— Он ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начинает. Пусть существует теперь как предмет — на вечную память, я всех угощу!

— Угощай грядущую сволочь,— согласился Жачев.— Береги для нее жалкий продукт!

Наклонившись, Вощев стал собирать вынутые Настей ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг

к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении.

— Вощев, а медведя ты тоже в утильсырье понесешь? — озаботилась Настя.

— А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное существо!

— А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка, занемогшую руку к лежачему на дворе колхозу.

Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей по истине головою.

Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Вощев не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил Вощеву. Тогда Вощев присел близ человека и долго смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в глубь своего грустного сознания.

Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил, и на его голос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом.

— Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? — спросил колхоз. — Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее — нам чувствовать нечего. Вы уж постарайтесь!

— Некому горевать, — сказал Чиклин. — Лежит ваш главный горюн.

Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того поганый, что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки заплакали от печали.

— Он умер, — сообщил всем Вощев, подымаясь снизу. — Все знал, а тоже кончился.

— А может, дышит еще? — усомнился Жачев. — Ты его попробуй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не заработал: я ему тогда добавлю сейчас!

Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента.

— Ах ты гад! — прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем.— Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!

И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья.

Почувствовав полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Вощев встал на ноги и сказал колхозу:

— Теперь я буду за вас горевать!

— Просим!! — единогласно выразился колхоз.

Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не только от одного холодного воздуха, но и от истинной радости одоления всего смутного вещества земли.

— Выносите мертвое тело прочь! — указал Вощев.

— А куда? — спросил колхоз.— Его ведь без музыки хоронить никак нельзя! Заведи хоть радио!..

— А вы раскулачьте его по реке в море! — догадался Жачев.

— Можно и так! — согласился колхоз.— Вода еще течет!

И несколько человек подняли тело активиста на высоту и понесли его на берег реки. Чиклин все время держал Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими условиями.

— Из меня отовсюду сок пошел,— сказала Настя.— Неси меня скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно!

— Сейчас, девочка, тронемся. Я тебя бегом понесу. Елисей, ступай кликни Прушевского — уходим, мол, а Вощев за всех останется, а то ребенок заболел.

Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не захотел, сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить, иначе она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко.

— Ну пускай остается,— согласился Чиклин.— Лишь бы сам цел был.

Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз; поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они, спеша, отправились на котлован по зимнему пути.

— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, приказала Настя.— Я к нему скоро в гости приду.

— Будь покойна, барышня! — пообещал колхоз.

К вечерием временн пешеходы увнделн вдалеке электрнческое освещение города. Жачев уже давио устал сндеть на руках Чиклииа н сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять.

— Пешне скорей дойдем,— ответнл Елисей.— Наши лошади уж н ездить отвыклн: стоят с коих пор! У иих н иоги опухлн, ведь им только н ходу, что корма воровать.

Когда путнннкн дошлн до своего места, то увнделн, что весь котлован заиесеи сиегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться иад разведеиием костра для согревання Настн, но она ему сказала:

— Несн мне мамнны костн, я хочу нх!

Чиклнн сел против девочки н все время жег костер для света и тепла, Жачева услал искать у кого-иибудь молоко. Елнсей долго сидел иа пороге барака, наблюдая блнжний светлый город, где что-то постояиио шумело и равиомерно волновалось во всеобщем беспокойстве, а потом свалнлся на бок и заснул, иичего не евши.

Мимо барака проходнли миогие люди, но иикто не прншел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагиул голову и иепрерывио думал о сплошной коллектнвнзацнн.

Иногда вдруг иаставала тишииа, но затем опять пелн вдалеке сирены поездов, протяжио спускалн пар свайные копры, и кричали голоса ударных брнгад, упершнхся во что-то тяжелое, кругом беспрерывио нагиеталась общественная польза.

— Чиклии, отчего я всегда ум чувствую н никак его не забуду? — удивилась Настя.

— Не зиаю, девочка. Наверно, потому, что ты ннчего хорошего ие видела.

— А почему в городе ночью трудятся н не спят?

— Это о тебе заботятся.

— А я лежу вся больиая... Чнклнн, положи мие мамииы костн, я нх обииму н начиу спать. Мие так скучио стало сейчас!

— Спн, может, ум забудешь.

Ослабевшая Настя вдруг прнподнялась и поцеловала склонившегося Чнклнна в усы — как и ее мать, оиа умела первая, не предупреждая, целовать людей.

Чиклнн замер от повторнвшегося счастья своей жизнн н молча дышал иад телом ребеика, пока виовь ие почувствовал озабочеиности к этому маленькому горячему туловнщу.

Для охраиения Насти от ветра и для общего согреваиия Чиклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка.

— Лежи тут,— сказал Чиклии ужасиувшемуся во сие Елисею.— Обними девочку рукой и дыши иа нее чаще.

Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоть и чутко слушал дремлющей головой тревожиый шум иа городских сооружениях.

Около полуиочи явился Жачев; ои принес бутылку сливок и два пирожиых. Больше ему ничего достать не удалось, так как все иоводействующие ие присутствовали иа квартирах, а шиковали где-то иа стороие. Весь исхлопотавшись, Жачев решил в коице концов оштрафовать товарища Пашкииа как самый надежиый свой резерв; ио и Пашкииа дома ие было — ои, оказывается, присутствовал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться иа представлении, среди тьмы и виимаиия к каким-то мучающимся иа сцеие элементам, и громко потребовать Пашкииа в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгиовенио вышел, безмолвио купил для Жачева в буфете продуктов и поспешио удалился в залу представления, чтобы сиова там волиоваться.

— Завтра надо опять к Пашкину сходить,— сказал Жачев, успокаиваясь в дальием углу барака,— пускай печку ставит, а то в этом деревяином эшелоне до социализма ие доедешь!..

Раио утром Чиклии просиулся; ои озяб и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспокойство.

— Ты дышишь там, средиий черт! — сказал Чиклин к Елисею.

— Дышу, товарищ Чиклии, а как же нет? Всю ночь ребеика теплом обдавал!

— Ну?

— А девчонка, товарищ Чиклии, ие дышит: захолодала с чего-то!

Чиклин медленио поднялся с земли и остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные, потом иашел веиик и очистил весь барак от скопившегося за безлюдиое время разного налетевшего сора.

Положив веник на его место, Чиклину захотелось рыть землю; он взломал замок с забытого чулаиа, где храиился запасиой иивеитарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша отправился на котлован. Ои иачал рыть груит, но почва

уже смерзлась, и Чиклину пришлось сечь землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр почти во весь свой рост, но и там не мог утомнться и стал громить грунт вбок, разверзая земную тесноту вширь. Попав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от мощности удара,— тогда Чиклин зашвырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой к обнаженной глине.

В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла.

— Пойду за другой лопатой! — сказал Чиклнн и вылез из ямы.

В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробовал ее голову; потом он прислонил свою руку ко лбу Елисея, проверяя его жизнь по теплу.

— Отчего ж она холодная, а ты горячий? — спросил Чиклин и не слышал ответа, потому что его ум теперь сам забылся.

Далее Чиклин сидел все время на земляном полу, и проснувшийся Жачев тоже находился с ним, храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей, всю ночь без сна дышавший на девочку, теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих голосов родных обобществленных лошадей.

В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать снаружи.

— Ты что? — увидел Вощева Жачев.— Ты зачем оставил колхоз, иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь как от класса!

Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утнля в внде редких, непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на Вощева, но ничему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, вндя ее открытый смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммуннзм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?

Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с течением времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.

— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! — обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных.

— Мужики в пролетариат хотят зачисляться,— ответил Вощев.

— Пускай зачисляются,— произнес Чиклин с земли.— Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду.

Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована.

Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть.

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором прискорбия.

— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак.— Взял бы хоть лопаты поточил!

— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! ответил Жачев в это утро второго дня.

— Почему, стервец?

— Ты же видишь, что я урод империализма, а коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.

И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвра тившись на котлован.

В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ре-

бенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощание.

впрок

(бедняцкая хроника)

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца, и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого насторожненного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя («я»), то это — для краткости речи, а не из признания,

что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время будущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелкоимущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынность страны, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постои бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят строиться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили материалы по губительной немощеной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благодетельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется,— сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной,— сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно,— ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Щацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию,— поэтому он глядел

не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком,— произнес попутный старичок,— телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная,— сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе,— враз согласился старичок.

— Не горюйте,— посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках.— Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил,— предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко,— сказал верхний человек и опустил в красноармейской фляжке этот напиток.— Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам ради бога,— отказался старичок.

— Пей, говорят, пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу,— тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет,— высказался старичок.— Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтобы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну здравствуй,— обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу,— ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне ехать некуда,— где понадоблюсь, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ.— Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда, плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда.— Когда ж ты тронешься? Уже третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир.— Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю; намедни ты заснул, а я депешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Стат мие не иужеи,— отказался пассажир.— С докумеитами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу иа самую слабую статью, потому что обо мие иичего ие известио.

Мой спутиик, демобилизоваиный красноармеец товарищ Коидров, остаиовился от такого разговора.

— Имей в виду,— сказал ои дежуриому,— ты работаешь, как стервец; теперь у меия будет забота о тебе.

С этим мы вышли иа полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила иас, сопротивляясь ветром в лицо, ио иам было это не трудно.

Через иесколько часов пешеходиой работы мы остаиовились у входиых ворот деревии, устроеииых в виде триумфальной дуги, иа которых было иаписаио: «С.-х. коллектив «Доброе иачало». Сам колхоз расположился по склону большой балки, виизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкиовеиио деревеискими, все имущественное оборудоваиие было давним и знакомым, только люди показались мне иеизвестиыми. Оии ходили во миожествеииом числе по всем местам деревии, щупали разиые предметы, подвинчивали гайки иа плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населеиия колхоза была тревога и забота, и колхозиики старались умеиьшить свою тревогу перед севом рачительиой подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки иа всех плугах только своею собствеииой рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баяи и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова почиию.

Тот, иа котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напомииающих киопки гармоиии), ничего ие возразил, а лишь вздохиул, что иикак ие мог угодить иа колхозиых членов.

— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жрут который день, аж салом подериулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? чего зря колхозные ноги бить?

— Ну, так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный,— обиделся моложавый Васька.— Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленое, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане,— сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржави и трения.— Граждане, вчерашний день Серега опять цигарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

— Брешешь, смазчик,— возразил присутствовавший здесь же громадный Серега,— я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо,— спорил смазчик,— а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть,— смирился Серега.— Ты сам ходишь оленафтом на́земь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет. Что он меня мучает!

— Будя вам,— сказал Кондров,— не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай,— колхозу капля не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров,— ответил смазчик.— Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца,— объяснил смазчику Кондров,— олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну?! — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт — это просто себе густая жидкость.

— Петька,— сказал малому лысый мужичок, тот, что услал Ваську к лошадям.— Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно,— сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал прнказывать бабам про вьюшкн.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложнл, а к своему мерниу подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой,— знать, колхоз тебе не по днаметру.

Дядя Семен стоял, помутнвшись лнцом.

— Привык к мерину,— сказал он,— вспоследствии войду — он сопнт на меня и глазамн моргает, а кругом норма — скотину иечем поласкать, вот и положил твое сено.

— А ты теперь к человеку прнвыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду прнвыкать,— грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятня.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкимн животнымн воду пьем. Может, прн хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незасеянной высоте склона стонт новая деревянная каланча, метров в десять-двенадцать. Наверху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи иеизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит,— сказал мне Кондров, указав на каланчу.— Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все роднлось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрнческая лампочка, мы пошлн с Кондровым не иа каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с снльным мельничным пошвенным колесом, запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Налнвное колесо у вас работало бы полезией! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как иужно сделать, а мы будем его делать,— ответил мне Кондров

Мне стало печально н тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знанне отдаст что угодно, а с другой стороны, его всякая вреднтельская стерва может легко об-

мануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наливное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров.— Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечовых полуваттных ламп, то есть общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу пущу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчой и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

Дедушка Павлик обещал ликвидировать бога как веру, если огонь вспыхнет на каланче. Он тогда в электричество как в бога обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не бреши!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно! — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился,— сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — поинтересовался я.

— Нам оно впрок; ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе «Доброе начало»:

1. Солнце организуется для покрытия темного пасмурного дефицита небесного светила того же названья.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы, колхозное солнце выключается, при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культработы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, которое развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также

имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождений всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними,— ответил он,— сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же, на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению с Кондровым мы сделали полный анализ изгорения солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково· солнце потухло от страшной световой жары,

которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк.— Вы не понимаете. Вы поставьте на жесть какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно и приемлемо для дела; если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жесть будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно,— ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или малоизвестном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчой мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки пошвенного водобойного колеса на наливное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того, как назваться колхозом «Доброе начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешевизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь

стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

«Главное, чтобы государство меня не услышало,— соображал он.— Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял: да нет, его дело аэропланы!»

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся,— приказывал коню Верещагин.— А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, что государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будеть иметь двести рублей чистого дохода, а там еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с

убытками — она начала отрывать от омертвелых лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагина целая стая чужих собак, и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонию, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак обо всем твоем способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель,— сказал Верещагин.— Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь — вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал,— произнес тогда Кондров.— Ну ничего, ты теперь на ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю,— с хитростью смирился Верещагин.— Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров.— Оппортун всегда кричит «за», когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был,— наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в доме

Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы,— таким образом, от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места, свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун,— говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п.— Он желает прославиться, как автор какой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это верно и революционно! — сообщал он про дельную бумагу.— Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщать! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег или

сразу приняться за строительство солнца,— но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика.— Сделай мне сводочку...

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинающуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе начало», но там горело всего огня два и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет, поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать,— от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед по дороге, ведущей дальше от «Доброго начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая света колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он *борец с неглавной опасностью* и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди,— видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел.— Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную,— ответил мне дорожный друг.— Кроме того, я слабосердечен, н мне дали левачество, как подсобный для правых район! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крушить надо вдосталь,— и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последнне ошнбочники, последние вышнбленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дали: эх, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я осмотрел говорящего человека. Лета его были еще не старые, зато лицо и тело, видимо, уже истратились в окружных дискуссиях, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях н едва лн достаточно ел пнщн.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулнсь.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно,— безразлично согласился борец с неглавной опасностью.— Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевалн мы с ним в неопределенной избушке, которую увндели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-ннбудь,— сказал мне на утренней заре прохожий товарнщ.— Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Эта правда,— сказал я,— на свете много душевных бедняков.

В течение первой половнны дня мы шли дальше. По сырым полям кое-где уже ходнлн всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовка, расположенной действительно по ннзу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхннх почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятнлеткн, ибо, как я за-

метил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой в низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынны.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозы усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижка открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья; иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно

в сельсовет. И здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в понятную простоту истины.

— Что же вы ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета.— Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец.— Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлекший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко озадачившись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб,— разве они сами непосильны для этого или настолько отстали, что откажутся от современной пищи!

— А кто его знает? — ответил председатель.— Может, обозлятся на что-нибудь либо кулаков послушают и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать,— сказал секретарь,— тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете,— ответил мой дорожный товарищ.

— Нам доказывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

– Ну, конечно,— заключил борец.— Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее какнибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья.. Вот она левая бегущая юность! – уже ко мне обратился командированный

Настроение председателя было иным Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже По его выходило, что людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыден-

ку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуну.

Спустя немного времени окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого карася и правую щуку,— объяснил мне окружной спутник.— Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс.

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь,— сказал я.— При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу? Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно,— вдумчиво согласился борец.— Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно, правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня, я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго; два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взялись меня подвезти до ближайшего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилось, словно в камеры цилиндров попалось металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам один машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, и темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым и всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел на лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы, посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала как паровой котел — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно,— сказал нам Григорий.— Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его?! — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю,— объяснил Григорий – Маши на же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норовлю

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделать вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации.— Люди всегда работают сразу — и в ладоши и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозванию Прынцып; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Что это? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще боле. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечиых электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами

— «Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решали слушатели про того шпиона.

— «В Баку открыт новый завод смазочных масел».

— Машине необходимы жиры. Это первейшая нужда,— одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

— «Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

— «Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают, и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет,— по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сто лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Дмитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось,— догадался Григорий.— Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григорий вкладыши, как из степной ночи предстал перед мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из далекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином заду!

— Заводи машину,— сказал Григорий мне.— Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилинд-

ров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас поспевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его действительно светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушие пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук чернохвостого голубя, означавшего духа святого; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль.

За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сидение:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение.) Господь устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу.. Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пассажирское заднее сидение, и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину с такой скоростью, чтобы старики и старухи поспевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу

Шоферское боковое зеркало все время отражало свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился

У входа в храм лежал ниц поп и так же повалены были все те, кто и раньше ходил под богом В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопреставления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен.

Я не разубеждал его словами, поскольку бог-отец почти фактически был. Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи.

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас,— ответил бог. Но свет вокруг его головы не происходил.

— Давай я зажгу! — предложил Григорий.— Ты будешь копаться — должность потеряешь.

Он заголил богу рядно, как юбку, пошарил на его груди, и свет засиял.

— У тебя зажимы на батарее ослабли,— тихо сообщил Григорий богу.

— Знаю! — согласно сказал господь.— Туда бы нужно болтики и гаечки, а разве их обнаружишь где в степи.

После посещения храма мы повезли бога в избу-читальню. Так пожелал Григорий, а бог согласился. У Григория был замысел: в этой зажиточной слободе почти никто не верил в радио, а считали его граммофоном,— Григорий вез бога в техническое доказательство. В избе-читальне собралось народу порядочно, тем более что прибывал бог.

В громкоговорителе же ослаб аккумулятор, и про то знал Григорий, а у бога висела вокруг груди свежая батарея элементов. Григорий поставил бога вблизи громкоговорителя и прицепил его проводами к аппарату. Радио, получив усиленное питание, зазвучало четким басом, но зато свет вокруг головы бога потух.

— Верите ли вы теперь в радио? — спросил Григорий собрание, во время перерыва для подготовки оркестра в Москве.

— Верим,— ответило собрание.— Верим господу и в шумную машину.

— А во что не верите? — испытывал Григорий.

— В граммофон теперь не верим,— сообщило собрание.

— Вот тебе раз! — раздражился Григорий.— А если мы вам граммофон сделаем, тогда поверите?

— Послухаем. Слухать будем, а верить обождем.

— А если я вас бога сейчас лишу?

Собрание и тому не особенно удивилось:

— Ну что ж,— ответил за всех неимущий мужик Евсей, читатель центральных газет.— Вместо одного бога за нами десять безбожников ухажорствовать будут. Чем, Гриш, меньше веришь, тем оно к тебе внимания и доходу больше.

В полночь настала пора расходиться. Но вышло горе: никто не брал бога ужинать и ночевать в свою хату. Слобожане требовали, чтобы сельсовет назначил подворную очередь на содержание бога, а неорганизованно иметь бога не желали.

— Да возьми хоть ты его, Степан,— сказал Евсей соседу.— У тебя новая хата порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан.— Я третьего дня бревна на мост по самообложению возил.

Бог уже захотел есть и озяб от свежей ночи, проникавшей в окна избы-читальни.

Наконец над ним сжалился комсомолец, который приезжал за нами на хутор, и позвал старика в свою хату, где существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика. Там бог поел, выспался и наутро остался трудиться второстепенным кузнецом. Он оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, тронувшимся в путь в виде бога-отца для проповеди святой коллективной жизни и для подыскания себе почетного счастья в колхозе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий.— Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала; кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом — он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками не к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен,— сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко.— Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду,— больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капиталистические слабосильные марки! Нам годятся машины в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака»,— сказал Григорий.— Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня.— А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже знают меня, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

«48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, 1 прочая женщина с детьми-сиротами».

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 года, причем в 1928 году при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара, по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванию Кучум, удивил меня мрачностью

лица и резким голосом, раздающимся нз глубины его постояиио скорбящего сердца.

— Я ие могу тебе ответить,— сказал ои мне,— потому что для иас иет такого вопроса, для нас это понятио без всякого ума.

— У вас, иаверно, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет еще ии трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе иет: в нас нет вопроса.

— А отчего же мужики больше сеять иачали?

— А для чего ж оии колхоз организовали — для бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос,— я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу,— сообщил Кучум.— По-твоему, все иаше дело должио выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием, стали работать, и вдруг иичего у иих ие вышло. Это же страшио и так быть не может! Так думает безумиый или иеиавистиый.

— И я так думаю иногда.

— Поиятио: в тебе иет колхозиого чувства н классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство иль хотя бы нашу классовость, у того и ум, а без чувства — остаются одии вопросы и злоба.

Я поиик. Это была приблизительиая правда. Я остался в колхозе иа иесколько дией, не особо все же доверяя Семеиу Кучуму. Больше Кучум уже ии разу ие говорнл со миой, потому что вообще ие произносил слов без иужды, хотя был вежливым и спокойным от какого-то равиомериого делового уиыиия человеком. Дальше я существовал лишь свндетелем иекоторых событий.

В этой деревие около четверти иаселеиия была в колхозе. Остальиые же крестьяне все время мучились душой: входнть нм нли обождать. Работал Кучум иепостижимо, я больше иикогда не видал такого колхозного организатора.

Одиажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одио заявлеиие: берн их и зачисляй в колхоз. Бедияки этн былн общензвестнымн, но в смысле качества — люди не вполне усердиые, так как давио уже отчаялись иайти дорогу к облегчеиию своей жизнн. Это их неусердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизии бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым иедружелюбнем сказал нм

Кучум.— Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете, в колхозе легко вам будет?

— Да, может, Семен Ефимыч, и легче,— ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали,— угрюмо объяснил Кучум.— В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина,— куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили в колхоз писаться поодиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщиной на лбу, въевшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего,— живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал,— уныло-недоумевно ставит вопрос Кучум.— Другую морщину нажить на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников-крестьян чувствовали другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий,— объяснил мне многократно не принятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручительств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо

сказать колхозникам, что их вначале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной. Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча,— говорил же он другое.

— Но, может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю,— искренно отвечал Кучум,— это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз — советская власть и без хлеба жила — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну?! — пугались первые колхозники.— А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно, Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу,— сказал он,— харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали,— ответил ему Кучум.— Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще, вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы, вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и под-

готовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Таким способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгодности общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум обидевшись все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозванию Пупс, хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и выпивши ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить, не тужить.
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум,— он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки едино-

личников сказывалось влияиие колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться иа своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь иеудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особеиио же доставалось жеиской части единоличииков. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угодьям с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жеиа его доила корову.— Ты бы хвостяную конечиость к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животиое по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там члеики доют!

Другой хозяии всю ночь спал с открытым окиом избы, потому что в колхозе люди спали с воздушиым сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышиями среди юиошей едииоличных дворов. Оии им казались вкусией и сознательней, и гораздо изящией, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличиые девки, глядя иа молодых колхозниц, едииодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление едииоличииков по колхозу, устроеииому Кучумом без большого восторга. Мало того, я иаблюдал людей, прибывших из окрестиых деревеиь и, видимо, иадеявшихся, что можио будет скустоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога,— сообщал Кучум таким гостям,— а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы.— У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собствениым плетнем и жуй житиое с солью.

— Я же вам говорю, чтоб вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, ие было, но и покоя жизни тоже иикто ие знал. Но все же единоличиики верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизии, а у них эта влага стоит в срезек, на одиом уровне.

Кучум подсчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до двадцати лет (юноши и девушки) и люди старше двадцати лет.

При этом молодое поколение (до двадцати лет) разбивалось еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в пятнадцать-двадцать лет. Для всей это молодежной части колхоза снабжение было установлено, как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница: например, младенец и уже работающий юноша в семнадцать лет и т. п.). Даже членов старше двадцати лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: «Весь доход колхоза «Без кулака», за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки по двадцати лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценок каждого члена старше двадцати лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, то есть не свыше двадцати лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммунизме и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте пятнадцати-двадцати лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении,— им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия мо-

лодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые десять дней. Согласно такому общему декадному плану всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников,— причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше двадцати лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девки были парижанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательное правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выигрывают у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

— Мы ему, черту, покажем, кто мы такие! — ожесточаясь для неимоверного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать, как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного материала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что ж они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем, правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирающая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретает полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправиль-

ности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии,— за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтобы она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно Рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий сокрушительный удар в скулу — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых и непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в измождающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай,— товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения, под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с това-

рищем Упоевым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упоеву: «Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, большевиком ты состоять не годишься — большевики люди проворные».

Но Упоев не верил ни кулаку, ни событию — он был неудержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой», то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир: «Вот мои жены, отцы, дети и матери,— нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!»

И все зажиточные наблюдали энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упоев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Упоев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Чего надо?»

— О Ленине тоскую,— отвечал Упоев,— хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин.— Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был раз-

молоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин,— обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным.— Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню,— произнес Владимир Ильич на прощанье,— мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич,— через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ,— сказал Ленин еще один раз.— Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич,— сказал Упоев,— не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал:

— Исчезни, стихия!

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, будет жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты действительно — сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого же он старался?

— Тебе хорошо говорить,— сказал Упоев.— А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призору не покинул!

— Пожалуй что, и верно,— согласился Упоев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со всей революционной суши,— он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, так как прочел в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угодьям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим,

который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего уменья. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получалась польза и не было бы желудочного завала. Девки действительно, из страха или сознания — не могу сказать точно, от чего,— перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом показа образца Упоев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Упоев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вздоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Упоев считал своей горницей все колхозное село и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волнения, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал,— говорила Упоеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это инди-

видуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем, как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Упоев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Упоев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Упоев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну спой, сукин сын! — согласился Упоев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевным тоном:

Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку-пер...на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Упоев и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Упоев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Упоев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал и сказал только, что, наверно, в самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — допытывался Упоев.— Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Упоев,— это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю,— размышлял Упоев.— Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьянам хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А, может быть! — радостно удивился Упоев.— Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтоб мы поумнели.

— Они уже отгрызли,— сказал я.

— Как так отгрызли? Что ж мне больно не было?

— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?

— Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы спать. Но после полуночи Упоев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Упоев.— Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажи документы?

Документов я с собой не носил. Однако Упоев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я Полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду,— чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил,— слабо ответил я.

— Перегибщик иль головокружец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Упоев посмотрел на меня странно-беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело,— сказал я.— А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шел молча, ничего не понимая... Упоев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... Засею

землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

Мы попрощались.

— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Упоев.

Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Упоева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти, и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружила меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.

Но Упоев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди него, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Упоева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть; я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди него сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает,— объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали здесь довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше: — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот,— обращался товарищ Щекотулов.— Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый,— говорили женщины.— Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно,— соглашался товарищ Щекотулов.— Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый,— горевали бабы.— А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов.— Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету,— с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов.— Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж! — отвечали ему верующие.— Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет,— объяснял Щекотулов,— но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете,— заключил Щекотулов,— то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога! Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию,— Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную совесть перед массами; я тщательно старался объяснить религию как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка: в колхозы он небось ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед.— Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь, 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. С вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренне ответил крестьянин.

Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но, с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал в избу-читальню, узнав за весь день лишь одно — что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная», «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая» и наконец — «разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «разъяснительно-добровольческой» комиссии — мне захотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже или не удается? — спросил я.

— Как вам сказать? Конечно, знамя массовой разъяснительной работы мы держим высоко, но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились сорганизоваться, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинках. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А от чего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь,— обратился он к председателю,— мне исполу пашешь, а вон лошадная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это ж твое рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель.— Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять! — выразился безлошадный.— Колхоза мы почти что не чувствуем — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание,— ответил председатель.— Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно,— сказал безлошадный,— тебе ведь колхоз — убыток...

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около пяти процентов) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие

усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные бедняки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-середняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до неимоверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо товарищу Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Товарищ Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе заехать прежде в районную власть и, узнав, нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся свезти письмо товарищу Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел со спокойной за колхозы душою. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя малые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью: «С.-х. артель имени Награжденных героев, учрежденная в 1923 г.». Здесь, наверное, общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я видел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня, как служебное лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, то есть чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы;

одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех других артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: Рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели «Награжденные герои» бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца.— Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего ж они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопили бугор имущества, а класс оставили в покое...

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что действительно иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, то есть не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели товарищ Мчалов пришел на работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожи-

лого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли,— сказал он мне.— Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел на голову,— сказал я ему.— А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да кажется мне так, а люди сообщают,— произнес председатель.— Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле. Потом все те же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая скрытная борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком среди довольно пространного если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближайших деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась,— разру-

шать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние четыре года артель приняла в новые члены только десять человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих десяти обжились в артели, прониклись ее скопческим духом деляческтва, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевистского ветра, пятеро же составляли в артели настоящую большевистскую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я и был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевистского правления артели, которое и должно сменить бывших героев, а нынешних ханжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханжеское соблюдение принципа добровольности (по существу же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, среднем благоприятном году дала урожая почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих «героев»?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя от-

казать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-делячеcкая артель станет большевистской. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям, вместо сухого рачительства, ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня:

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата,— сказал товарищ.— Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас она мертвая пробка.

— Наверное, наша артельная коммуна — это не коммунизм,— произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе,— сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом, было установлено еще до прибытия товарища Скрынко, что артель «Награжденные герои» была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между

членами артели и подкулачниками, и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник пасхи я вошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управишься войти в членство,— говорили Филату руководящие лица.— Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять на первый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгом, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла собравшись вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел

жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот,— сказал активный председатель всему колхозу,— вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а, наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, а и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же, непонятно, наша радость? Оттого что Филат был самый гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слова, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний батрак, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам что-нибудь; теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать-то счастье — пусть уж лучше другим достанется...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз.— Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу,— тихо сказал Филат,— только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье — грудь не выдержит.

— Ничего, обтерпишься! — крикнули колхозники.— Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть тридцать семь лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой — ты видишь,

солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать семь лет томили, и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель.— Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтоб они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный поток» я встретил железнодорожную насыпь и, пройдя вдоль ее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал настолько далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР михновской овцы. Однако Острогожский округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фациолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до сорока тысяч пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму за округленнем пятьсот тысяч рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов

С ветеринарно-санитарной точки зрения опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ

по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы тридцать тысяч гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также будет разрешена проблема разведения михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны,— ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях, в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть народнохозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 83 квадратных километра. Примерно треть всего объема работ уже выполнено; сами работы с 1927 года механизированы, то есть чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а плавучий экскаватор,— причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывчатую технику, разрушая слежавшиеся наносы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52 процента исполнительной сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, то есть ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болота луга, одним напряжением единоличного хозяйства нельзя,— и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные товарищества, то есть в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

«Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр?

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста,— это хорошее учреждение. Пойдем, я тебя яичницей покормлю. А я знаешь кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гожусь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам

яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получалось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр,— подтвердил я.

— Ну, а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка.— Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтобы построить научную избушку-читальню?

Второй проверочный вопрос Пашки был из другой области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот, говорят, что можно сделать две палки, равные друг другу! Чушь! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка.— Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтоб нам догнать, перегнать и не уморится. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль «форд», годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР — самая передняя до революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре человечества», я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначили Пашку как великого человека, выросшего из мелкого дурака — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не знал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте,— все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы — ему захотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей,— выпив и утерев рты, сказали волостные мужики.— Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит: ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом

произносил Стефан Еремеевич.— Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что: Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон из поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот,— говорили сельсоветы на Пашку,— идет нам сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге,— отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество.

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Паша, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза — настолько в нем увеличилось количество ума благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго: я был свидетелем ярового сева на сто сорок процентов от плана и участником трех строительств — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном,— пусть наш рабочий

товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

* * *

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощанье и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь,— сказал мне Павел Егорович.— Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

ювенильное море
(море юности)

повесть

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом,— лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управлялся, уже на ходу, открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина благодаря сообразительности пешехода заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно — как только, хотя бы на мгновенье, земля уравновесится среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в котором разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, вокруг лежала смирная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать.

В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший подошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном железном переплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжко вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым чтецом.

— Здравствуй,— не спеша ответил пожилой человек.— Соваться пришел?

— Нет,— сказал пришедший и спросил, что здесь такое.

— Здесь мясосовхоз нумер сто один,— сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово.— А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

— А можно мне увидеть директора? — спросил прибывший.

— Можно,— ответил без охоты пожилой человек.— Гляди на меня — это я вот директор. А ты думал — директор здесь кто-то особенный — это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командируется инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь он мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до рассвета в своих ското-местах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов

стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо, она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

— Ты не видел нашей тыквы? — спросил директор у Вермо; но Вермо спал.— Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы — половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил... Ах, ты спишь уже? Ну спи, бедный человек, а я еще почитаю...

И директор снова углубился вниманием в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

— Что вы такое? — спросил Вермо.— Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

— Отобрази,— с польщением согласился директор.— Я Адриан Умрищев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры!.. Ты что думаешь,— переменил голос Умрищев,— иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

— А разве нет? — удивился Вермо.

— Нет,— вздохнул Умрищев. Я здесь очутился как «невыясненный»! Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула тоску неясности?

— Могу, наверно,— пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрищев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение

и характеристику, так что Умрищев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрищева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины, тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность,— навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и списки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили: «Нам все же что-то не очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить, и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение». Умрищев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. «Все же достаточной ясности о вас для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние»,— отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведовало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц *невыясненные* приходили в учреждение, получали жалованье и спрашивали: «Ну как я, не выяснен еще?» — «Нет,— отвечали им выясненные,— все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение,— будем пробовать выяснять!» Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными, отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы,— и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

В жизни все иеверно и капризно,
Дии бегут, никто их не вериет.
Нынче праздиик — завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет.

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время н вытирали глаза от слез н тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь средн рабочего дня. После сборища невыясненные расходились кто куда мог: кто уже имел комнату, кто жнл где-нибудь из милости, а нанбольшее колнчество расходилось по отраслевым учреждениям своего ведомства; в этих учреждениях невыясненные ночевалн и приннмали любовниц,— однн невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности раннл ее после занятнй черннльницей месткома. Кроме того, невыясненные звоннли по казенным телефонам между собой, нграли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писалн пнсьма родственникам на бланках отношенний. По ночам невыясненные падали со столов, потому что виделн страшные сны, а утром одевалнсь поскорее до прихода служащих, выметалн мусор н шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же, бывало, вовсе обеднятся, невыясненные шлн в секторы кадров, к которым онн былн приписаны, и спрашивали замедленными голосамн, уже боясь втайне, что нх наконец выяснили и предпишут назначение: «Ну, как?» — «Да пока еще никак! — отвечает, бывало, сектор.— Вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели — надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь». Невыясненный уходнл прочь н, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатамн, заходил во все уборные н не спешнл оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свон мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке как единичном явленин. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; такнм говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить, почему они не сигнализировалн своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или — почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-лнбо местным взысканням по соответствующим линиям,— нет лн здесь скрытых признаков кумовства именно в том, что послужной спнсок слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно

и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями, и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам — пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что, когда его действительно куда-то назначили — сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию — суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. «Слушай,— сказал тогда Умрищев,— подбрось-ка и меня куда-нибудь».— «Почему?» — озадачился из машины человек. «Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи». Человек в автомобиле сначала задумался, а потом сказал: «Садись!» — в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, если так будет продолжаться, она не сможет с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих дел. Вечером же, доложив жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости

и сомнения. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видимыми насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал, посредством творчества и строительства, вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны,— и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал,— это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного, с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

— Вот были люди и происшествия,— сказал Умрищев, утешаясь книгой, и стал читать вслух: — «Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привесть откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитенщиков, 45 харчевников, 30 кру-

пеииков, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одиому либо по два человека иа каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в иеиспытаииое, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашиие щи либо тюрю»,— Умрищев здесь отринулся от чтения и довольио улыбнулся:

— Да у нас в одии районный центр требуется больше пищевиков, чем во весь Китай-город: мииималисты были, черти,— одиу тюрю любили!

Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтобы уйти прочь, тем более что иа дворе уже разгорался иовый деиь, а здесь горела лампа.

— Ну, я пойду,— стесиительно сказал Вермо.— До свидаиья.

— Ступай и не суйся,— ответил директор.— Чем стариив сама себя пережила: оиа не совалась!.. Ступай, а то мие тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...

После ухода иижеиера Умрищев взял из-под стола следующую книгу и заиитересовался ею. Это была «Торговля пеиькою в Шацкой провииции — в 17 веке». Ои и пеньку любил, и шерсть, и пшеио, и быт мещерских и мордовских племеи в моршаиском крае, и чериое дерево в речных глубинах, и томленье старинных девушек перед свадьбой — все это полиостью озадачивало и волиовало душу Умрищева; ои старался постигиуть тайну и скуку исторического времени, все более доказывал самому себе, что вековечиые страсти-страдаиия происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и всюду иеустаиио суются, нарушая размеры спокойствия.

* * *

Вермо вышел иа солице и ие спеша отправился через цеитральную усадьбу иа дальние гурты. Босые доярки уже иесли ведра с молоком, шагая по земле толстыми ногами; иа пороге иочлежиой гориицы сидел пожилой пастух — ои ел что-то из чашки иа коленях и посматривал на доярок, иа иезиакомого человека и на отдалеииые пастбища, где придется пробыть весь деиь и много воображать, вследствие того, что пастуху иа целине мало работы и все время думается разное в голову.

Вместе с Вермо из совхоза вышла молодая жеищииа и пошла с иим иечаяиио рядом. Оиа была иемиого привлекательиа, ио, видимо, проста и доверчива, так как шла

и рассматрнвала человека объектнвио, как вещь, еще не чувствуя к иему ии вражды, ни любезностн. А Вермо уже стеснялся ее, как человек, у которого сердце всегда живет под иапором скопившейся любвн н который, ие нспытав еще, быть может, женщниы, уже боится исчезнуть в неизвестиом иаправлеиии собственой страстн, невиимательио храня себя для высшей долн. Но втайие, стеснеииый сердцем, Нниколай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполиено безысходной жизиью. Он осмотрел в последний раз женщнну — она была действнтельио сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову н приблнжалнсь к глазам, блестевшим увереииым светом своего чувства существоваиия; ее скромный рот, немного открытый (от винмання к посторониему), показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпелнво, готовая кормнть детей, прнжать нх к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнеиия, его стеснительность прошла, и он сказал женщние хриплым, ие своим голосом:

— Как скучно бывает жнть на свете!

— Отчего скучно? — произнесла жеищииа.— Нам тоже еще ие весело, ио уже ие скучио давио...

Инжеиер остановился; спутница его также дальше не пошла, н он снова иеподвижио рассматрнвал ее — уже всю, потому что н туловище человека содержнт его сущиость. Глаза этой женщнны былн сейчас ясны и осторожиы; безлюдье лежало позади ее тела,— светлый и пустой мнр, все качество которого хранилось теперь в этом иебольшом человеке с чериыми волосамн. Жеищина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая нлн нз хитрости.

— Скучно оттого, что не сбываются нашн чувства,— глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьнх костров.— Смотришь иа какое-нибудь лнцо, даже неизвестное, н думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но ои отвернется,— ие кончилась, говорит, классовая борьба — кулак мешает косиуться нашим устам...

— Но он не отвернется,— ответнла женщнна.

— Вы, иапример? — спроснл Вермо.

— Я, напрнмер,— сказала женщнна из совхоза.

Вермо обиял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слушая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мнр его воображения похож иа действительиость и горе жизнн иичтожио. Тщательно все сознавая, Вермо

близко поглядел в лицо женщине, она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама придержала его и вторично поцеловала.

— Суешься уже? — сказал огорченный и забытый голос со стороны.

Пока двое людей глядели только друг в друга, подъехал верхом третий человек — Умрищев и загодя засмеялся такому явлению поцелуя в степи.

— Она мне очень понравилась! — ответил Вермо; и ему опять стало скучно от лица Умрищева.

— Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! — посоветовал Умрищев.— Тебе нравится, а ты в сторону отойди,— так твое же добро целей-то будет: ты подумай...

— Проезжай, Умрищев,— сказала женщина.— На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!

— Ну-ну, приходи,— охотно согласился Умрищев.— Только в женскую психиатрию я соваться не буду.

— Я тебя сама туда всуну — обратно не вылезешь,— сказала женщина обещающим голосом.

— Не сунусь, женщина! — ответил Умрищев.— Пять лет в партии без заметки просостоял — оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления,— еще двадцать просостою — до самого коммунизма без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!

Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.

По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партячейки и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.

Босталоева шла впервые на этот гурт: до этого она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжко и сложно,— прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда — в «Родительские Дворики» — Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.

* * *

Гурт «Родительские Дворики» находился в русле древней речки, высохшей лет тысячу тому назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестной степи громадные выдолбленные тыквы.

Судя по ландшафту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишье от вихрей непогоды — это был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутой суховеями, погребенной наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на гуртовой усадьбе, и для их зарощения в песок были посажены прутья шелюги и чернотала, а между теми прутьями и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.

Посреди гуртового места находился срубовой колодезь, и две женщины-батрачки непрерывно вытаскивали ручной силой воду из глубины земли и относили ее в бак — для питья людям и животным.

Те «Родительские Дворики» имели списочное число коров — четыре тысячи, не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности в форме кроликов, овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.

Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека — заведующий гуртом зоотехник Височковский и старший гуртоправ Афанасий Божев.

— Вы должны вести себя как две мои частности,— говорил им Умрищев на ходу,— и бездирективно никуда не соваться.

— Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая! — охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался всем своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.

Височковский молчал. Он любил скотину саму по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть, потому, что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления с тем, чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко,— и еще многое другое совершил Височковский ради любви своей к делу.

Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Височковскому и Божеву: «Серьезно продумать все формы и недостатки». Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: «Усилить трудовую дисциплину». Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше; он стал на месте и показал в землю: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: «Ты сразу в дело не суйся,— ты сначала запиши его, а потом изучи: я же говорю принципиально — не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире». Божев спешно записал, а Височковский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать, а стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.

— Хорошее животное! — оценил Умрищев кролика.

— Да, оно ничего, оно милое, Адриан Филиппович! — согласился Божев.

Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.

Но зато, придя в служебный кабинет Височковского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле, в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки

каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочой больных коров, стены не имели убранства и были покрыты разными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.

— Это ж государственная измена! — воскликнул Умрищев в кабинете.— Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! — закричал он по направлению к Височковскому.— Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!

— Тише, начальник,— попросил Високовский,— говорите негромко: я вас услышу все равно.

— Вас бы надо гидрометеором по голове,— потише сказал Умрищев,— чтоб вы почувствовали что-то.

— Гидрометеор — это дождь, товарищ Умрищев,— равнодушно заявил Високовский.

— Я имею в виду тот дождь,— объяснил Умрищев,— который шел при Иоанне Грозном,— каменный, исторический дождь!

Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.

* * *

Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном.

На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодезники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии; некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.

Тут же в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.

— Это Айна? — спросила Босталоева у той устарелой женщины.

— Да то кто же! — раздражительно ответила бочонковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.

Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая двушка, наверно киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Айны, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер также низко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударницам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.

Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Айны, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи — след от бечевы, которая перерезала гортань и сожгла дыханье этой девушки.

Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.

— Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно,— сказал Божев.— Что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!

— Всех жалеть не нужно,— заявила старушка, бывшая тут,— многих нужно убить...

Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.

Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, предполагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уж молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.

— Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда — пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив,— развивал Умрищев вслух свое воображение.— Один, например, чистит ското-места, другой чинит по степи буровые колодцы, третий пробует просто молоко — какое скисло, какое нет,— каждый делает

планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю, что такая установка даст возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.

Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.

— Что здесь такое? — спросила Босталоева.— Что мы обсуждаем и какая повестка дня?

— Я ничего не понимаю,— со сдержанной враждебностью объяснил Високовский.— Обратитесь к товарищу директору: он должен знать.

Високовский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире, может быть, на весь руководящий персонал советского скотоводства. Босталоева это поняла.

— А теперь слушайте меня дальше,— говорил Умрищев.— Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рождаются весной, у вальщиков — среди лета, у гуртоправов — к осени, у шоферов — зимой, монтажницы отделываются к марту месяцу, а доярки в марте только починают: поздно-поздно, голубушки, починаете — летом носить ведь жарко будет!..

— Да что ты скучаешь-то все, батюшка: то жарко, то тяжко,— осерчала старушка,— да мы вытерпим!

Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.

— Кару-у-шка! — сказал он с глубоким сочувствием.

— Стари-чок! — настолько же ласково произнесла старушка.

— Ты что ж, существуешь?

— А что ж мне больше делать-то, батюшка? — подробно говорила старушка.— Привыкла и живу себе.

— А тебе ничего, не странно жить-то?

— Да мне ничего... Я только интервенции боюсь, а больше ничего... Бессонница еще мучает меня — по всей республике громовень, стуковень идет, разве тут уснешь!

Здесь Умрищев даже удивился:

— Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..

— Знаю, батюшка. Я все знаю — я культурная старушка.

— Ты, наверно, Кузьминишна?! — догадывался Умрищев.

— Нет, батюшка,— ответила старушка,— я Федератовна. Кузьминишной я уже была.

— Так ты, может, формально только культурной стала? — несколько сомневался Умрищев.

— Нет, батюшка, я по совести,— ответила Федератовна.

Умрищев встал на ноги и сердечно растрогался.

— Дай я тебя поцелую! Нежная моя, научная старушка! — говорил Умрищев, целуя Федератовну несколько раз.— Никуда ты не совалась, дожила до старости лет и стала ты, как боец, против всех стихий природы!

— И против классового врага, батюшка! — поправила Федератовна.— Против тебя, против Божева Афанаса и против еще каких-нибудь, кто появится... Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..

— Говори, бабушка,— обрадованно попросила Босталоева.— У нас повестки дня нету, а ты факты знаешь!

— Да-то, ништ, я фактов не знаю! — медлила Федератовна.— Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету... Да без меня б тут давно мужики-единоличники всех своих коров гнусных на наших обменяли, и не узнал бы никто, а кто и проведал бы, так молчал уж: ай кому жалко нашу федеративную республику?! Ему себя жалко!

Босталоева в тот час глядела на Николая Вермо; инженер все более бледнел и хмурился — он боролся со своим отчаянием, что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Когда начал говорить Божев — задушевно, с открытым и правдивым лицом и с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью,— Вермо заслушался одних звуков его голоса и был доволен, но потом, когда почувствовал весь смысл хитрости Божева, то отвернулся и заплакал. Федератовна, бывшая близко, подошла к инженеру и вытерла ему глаза своей сухой ладонью.

— Будет тебе,— сказала старушка,— иль уж капитализм наступает: душа с советской властью расстается. Мы их кокнем: высохни глазами-то.

Собрание сидело в озадаченном виде. Одна Босталоева улыбнулась и захотела узнать, в чем Умрищев и Божев каются: ведь обвинение их бабушкой Федератовной голословно, она, может быть, недовольна не классовыми фактами, а лишь старостью своих лет.

Божев в молчаливом обозлении сжал зубы во рту: он сразу понял, какую мучительную ошибку он совершил, испугавшись обвинения старухи из ее щербатого рта — ведь действительности никто здесь не знает. Умрищев же думал безмолвно для самого себя: «Всю жизнь учился не соваться, а тут вот сунулся с покаянием — и пропал! Ну кто тебе директиву соваться дал — скажи, пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!»

Божев, засмеявшись, предложил всем перейти к текущим делам, поскольку бабушка Федератовна отлично понимает, что единственным желанием его и Умрищева было доставить удовольствие заслуженной совхозной бабушке и, стало быть, не прекословить ей. Это же ясно — это ведь было предпринято ради уважения к трудовому стажу Федератовны, но вовсе не ради какой-либо идейной серьезности. Умрищев же уныло промолвил, что ошибиться он давно не может, поскольку для оперативного свершения ошибки надо все же сунуться куда-то или во что-то, а он давно уже ни до чего не касается, особенно до вопросов мировоззренчества.

— Товарищи, на дворе, пока мы сидим, наступил тем временем вечер,— сказал в заключение Умрищев.— Посмотрите, как это довольно хорошо. Посмотрите затем на эту советскую старушку (он показал на Федератовну), разве это не вечер капитализма, слившийся на севере с зарей социализма? И разве не приятно сказать нашей Федератовне, этой доброй тетушке всего будущего и теще всего прошлого, словесную милость? Пусть она утешается по-пустому на старости лет!

Здесь Федератовна как была, так и схватила Умрищева за отросшую бороду, на что Умрищев даже не вскрикнул, решив уже претерпеть все это как самую дешевую муку, а Божев моментально обнял всю старушку — с одной стороны, для ласкового успокоения, с другой — для защиты Умрищева. Но Федератовна, обернувшись, хлестнула ладонью по лицу Божева, и он не посмел обидеться. Ночью же, учтя эпоху, Божев уничтожил все ночлежные тыквы, чтобы улучшить тем самым свое политическое положение и ослабить очередную невзгоду жизни.

* * *

На следующий день доярку Айну понесли в гробу два выходных пастуха. За ее гробом шла подруга — профуполномоченная, провожавшая тело, несмотря на неплатеж

Айны членских взносов, тут же находился кузнец Кемаль, вздыхавший все время от какой-то нечленораздельной силы, затем двигался Умрищев с Божевым, и в стороне от всех шла Надежда Босталоева, держа за руки Мемеда, малолетнего брата Айны. Впереди гроба шел Вермо. Один скотник имел хроматическую гармонию и дал ее Вермо, чтобы музыка сопровождала погибшую.

До могилы было далеко — версты две; друг Айны, кузнец Кемаль, выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой.

Когда вышли подальше, Николай Вермо сыграл по слуху Аппассионату Бетховена; в течение игры он чувствовал радость и победу и желал отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним. Существо жизни, беспощадное и нежное, волновалось в музыке, оттого что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте — трудом бедняков, собранных изо всех безнадежных пространств земли.

С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль эоловых песков неслась в атмосферной высоте — вихрем, которого внизу было не слышно,— и солнечный свет доходил до земной поверхности смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменить как можно скорей, потому что и животные уже сходят с ума. В этом удручении Вермо спросил у Босталоевой, что ей представлялось, когда он играл.

— Мне представлялась какая-то битва — как мы с кулацким классом и музыка была за нас! — ответила Босталоева.

Вермо сыграл далее свое сочинение, заключавшее надежду на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле. Вермо всегда не только хотел радостной участи человечеству,— он не старался ее воображать,— сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей.

Поэтому его музыка была проста и мучительна, близ-

кая по выразительиости к произношеиию яростиых слов. Одиа пьеса Вермо такой и была, и ои сыграл ее, когда гроб поднесли к степной песчаной могиле. Умрищев и Божев ие поиимали музыки Вермо; они думали, что эти звуки имеют горестиое зиачеиие, и поиемиогу плакали из приличия.

Около открытой могилы уже сидела Федератовиа и смотрела виутрь земли. Она смерти не боялась, ей только было удивительио — куда же денется ее активиая сила, если придется умереть, и кто будет болеть тогда старой грудью за совхозиое дело.

— А ты что ж мало плачешь-то? — спросила она у Божева.— Ишь какой сухой весь пришел!

— Ветер слезы сдувает, Мавра Федератовна,— объяснил Божев.

— Ветер? — удивилась Федератовиа.— А ты отвернись от иего на тихую сторонку и плачь!..

Божев отвериулся и посилился добавочно поплакать, гладя свое лицо со лба вниз, ио Федератовиа, обождав, подошла к иему, провела рукой по лицу, попробовала слезную влагу Божева иа язык и обиаружила:

— Разве это слезы? Они же ие солеиые! Ты пот со лба на глаза себе сгоняешь,— ты вои что иадумал, кулацкий послед!

— Ей-богу, это слезы, Мавра Федератовиа,— увещевал Божев,— у тебя язык не чует.

— У меня-то не чует? — допытывалась Федератовна.— А если б и чуял, так я своему языку ие поверю, я только уму своему верю да партии большевиков!..

Айну в тот момент положили на край могилы. Все прибывшие люди стояли вокруг покойной и смотрели в ее лицо, уже снедаемое ветхими силами смерти, старое, как у Федератовны.

— Прощай, дочка! — сказала Федератовна и, согнувшись, поцеловала Айиу, и видио было, как тело старухи стало изнемогать от иемощи, от забот и от злости к действующему, живому врагу.

Надежда Босталоева расцеловала девушку-киргизку страстио и иесколько раз, а Умрищев только косиулся рукой ее лба и произиес: «Что ж тут горевать или поражаться: смерть всегда присутствует в текущих делах истории!»

Вермо попрощался с Айиой предпоследним; целуясь с умершей, ои подумал, что, если б оиа осталась жива, ои мог бы жеииться иа ией. Афаиасий же Божев припал к Айие в последнюю очередь и зарыдал иад ией искреииим голосом.

— Это он от страха старается: горя в ием иету! — определила Федератовна страдание Божева.

Но Божев подиял лицо кверху, и все увидели иа ием открытую печаль. Кузиец Кемаль спустился в могилу, и ему подали гроб; Кемаль уложил получше гроб в земле и прибил крышку, иавеки отделив умершую от ее врагов и товарищей, от всей будущей жизни, которую Айна хотела, как девушка и комсомолка.

Брат Айны, Мемед, ие горевавший по сестре, потому что она стала для него страшиая и чужая, подошел к Божеву и сказал ему:

— Дядь, иа ией твоя веревка осталась. Она кругом пуза завязаиа. Ты ее лучше возьми.

Кемаль сейчас же вскрыл гроб и развязал у покойной пояс. Это была кручеиая бечева, какие примеияют для кнутов. Кемаль тут же отдал эту бечеву Божеву и закрыл гроб вторичио.

— Ей больно было, а ты ее бил! — равнодушно сказал Мемед Божеву, глядя иа крученую бечеву.— Оиа взяла и умерла, а ты с веревкой остался!

* * *

На гурт «Родительские Дворики» прибыло много народа. Москвич, члеи правления Скотоводобъединеиия, и худой секретарь недалекого райкома партии повели так иазываемое глубокое обследоваиие всего мясосовхоза; Умрищев же был на воле и давал начальству такие объясиеиия, которыми старался поставить всех в тупик.

— Был ли на совхозе распростраиеи ваш лозуиг «а ты не суйся!»? — спрашивал Умрищева секретарь райкома.

— Был, конечио,— охотно отвечал Умрищев; чем вопрос был опасней, тем Умрищев добрее и подробнее отвечал иа него.— Вот Божев суиулся к Айне — ее погубил и сам пропал. Этот лозуиг, дорогой товарищ, идет по всему свету еще от Иоаиил Грозиого, а Грозиый ведь был глубокий человек: ты возьми даииые истории! Желаешь, я тебе предложу кое-что для чтения?

— Не желаю,— говорил секретарь.— Вы мие скажите другое: сколько ежедневио пропадало молока в совхозе? Сколько у вас выдаивалось из совхозных коров молока руками окрестиых кулаков и зажиточных едииоличников? Можете ответить?

— Ну, еще бы! — сообщил Умрищев.— Наша старушка Федератовна совалась вот повсюду и говорила мие, что ве-

дер тысячу. А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и вопроса такого бы не стояло.

— Хорошо,— спокойно произносил секретарь, безмолвно борясь со своим сердцем.— Сколько племенных совхозных коров кулаки обменяли на свой беспородный скот? — при содействии Божева, конечно!

— Я в этот счет не вмешивался,— с точностью отвечал Умрищев.— Я вел глубокую тактику и довольно принципиальную политику. А именно: пускай хоть кулаки, хоть бедняки, хоть кто, поменяют немножко своего скота на наш. Кулака раскулачат, бедняк войдет в колхоз — и все совхозное племя попозже или пораньше все равно очутится в обобществленном секторе. А вот в этом-то и скажется доброе, хозяйственное и ведущее влияние совхоза на колхозную прицепку! Тебе теперь понятно?

— Вы подлец и дурак,— тихо сказал секретарь, бледнея от сдерживаемого страдания,— кулак порежет наш племенной скот, а ваш беспородный скот принесет нам одни убытки и повальные болезни.

— Какой это ваш и какой это мой скот? — спросил Умрищев.— Я имею собственность только в виде идейных мыслей, а не коров, я ношу при себе билет члена партии! Ты, брат, особо-то не суйся!

— Вы правы,— говорил секретарь,— билет члена партии вы носите при себе. Но я прав, что сволочь его носит!

Умрищев вскочил во весь рост, желая как можно мужественней возмутиться, но вдруг икнул два раза подряд от нервного страха и заикал далее беспрерывно.

— Это я... книг начитался. Это я... исторически хочу... Ты гляди на меня, как...

— Как на икающего оппортуниста,— сказал секретарь.

— Хоть бы... так,— икая, соглашался Умрищев.

— Как на второго убийцу киргизской девушки и как на кулацкого мерзавца!

Здесь Умрищев позабыл икнуть очередной раз и вовсе освободился от икоты.

Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе,— и единственная надежда для всей изможденной косности — это пробиться в будущее через истину человеческого сознания — через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее

радости; горестное напряжение будет на земле недолго. Секретарь райкома вспомнил затем Надежду Босталоеву, чьи черные таинственные волосы, скромный рост и глаза, в которых постоянно стоит нетерпеливое искреннее чувство, создавали в секретаре странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствуют коммунизму и обеспечивают его близкую необходимость; Босталоева бы умерла при торжестве кулачества или мелкой буржуазии. Но секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности, и он сказал самому себе, не обращая внимания на Умрищева:

— Я, наверно, субъективно люблю Босталоеву и наряжаю ее в идеологическое подвенечное платье... Я опоздал, ее надо давно назначить на гурт, пусть она покажет себя в действии, и я полюблю ее сильнее или разлюблю совсем...

Умрищев тем временем настолько обозлился на все сущее, что решил уехать в дальний сибирский район, сделаться там секретарем и основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного или мещерского племени: все равно ничего не будет, пускай хоть покой обоснуется в отдаленном месте, а прожить можно одним пеньковым промыслом или даже не евши, чем так теоретически мучиться.

— Как теперь партия? — спросил Умрищев.— Наверно, разлюбит меня?

— Очевидно,— сказал секретарь и послал его к прокурору, который уже давно ожидал Умрищева где-то на завалинках гурта.

— Ну, тогда я соваться начну! — пообещал Умрищев.— Как-нибудь она меня полюбит! — И ушел.

Как только завечерело, секретарь начал пить чай и позвал к себе Босталоеву с мальчиком Мемедом, чтобы угостить их чем-нибудь сладким. Федератовна же пришла по своей доброй воле и начала причитать беспрерывно, что районная контора задерживает контингенты стройматериалов для совхоза, что переводы кредитных лимитов опаздывают, что среди пастухов слаба культработа и малозаметно самозакрепление. При этом она плакала горючими слезами, так как у нее серьезно болело сердце, и запивала чаем потерю своих сил. Вспомнив об Айне, она уже не могла нагореваться: ведь было же четко и ясно, что Божев — классовый враг, отчего она не поверила своему предчувствию,

своему ноющему сердцу, а ждала фактов, либеральничала и объективно помогала совершиться смерти.

— Бабка — дура,— сказал Мемед.— Всегда плачет и всегда живет. Сестра не плакала, а умерла...

— Я тебя в ясли завтра отдам: у подкулачников брехать научился! — сказала старуха.

— Там страшно,— произнес мальчик.

— А чего тебе страшно там? — спросила Босталоева.

— Там старик с бородой как картина висит,— сказал Мемед.— Бабкин жених...

Секретарь и Босталоева поняли мысль ребенка и засмеялись, а Федератовна обиделась за Карла Маркса, хотя секретарь уверял ее, что и Маркс бы улыбнулся сейчас.

— Ты знаешь, отчего умерла твоя сестра? — спросил секретарь у Мемеда.

— Бабка говорила — от нее,— ответил Мемед,— у бабки бдительность пропала. А сестру Афанас измучил, не бабка.

Мальчик представлял сестру с живостью всех фактов ее мучения. Она жила тогда за десять верст от гурта, в землянке у дальнего пастбища. Божев приезжал туда верхом на лошади и с кнутом, а доярки, и Айна с ними, в бане не мылись, горячего к обеду не варили и спали от работы мало. Но Айна не горевала, потому что хотела сделать социализм. Божев приезжал на коне, ел пышки из своего мешка и забирал с собою пастухов,— оставил только одного на пятьсот коров с быками. На ночь стадо расходилось без пути, пастух засыпал, а утром плакал нарочно, как будто от страха и горя, потому что в стаде начали пропадать полные красные коровы и являлись худые или мелкие, которые жрали и не росли,— молока же давали по четыре кружки. Именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые,— они ходили скучные и худые, и совхозные коровы их били, а неизвестные быки молчали.

Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала, что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли совхозных. Айна ходила за чужими людьми следом, дошла до степных хуторов и возвратилась. Потом она пошла на гурт за людьми и ружьями, но ее встретил Божев и вернул обратно. «Ты,— говорит,— бежать от стада хочешь, ты летунья, ты врешь, я сам считаю коров по списочному числу». Когда сосчитал, оказалось верно. Божев изругал Айну: «Тебе замуж надо, ты бесишься, все коровы целы, разве ты помнишь все пятьсот коров в морду?»

— Помню,— сказала Айна и побежала из стада на гурт.

Божев дал ей время побежать, а потом нагнал и бил кнутом, как летунью, которая срывает планы прокормления рабочих и служащих.

Айна упала, Божев ее взял и привез. Скоро Божев прислал нового пастуха, потому что старый пастух пропал вместе с десятью коровами и маточным быком; новый пастух угонял стадо далеко и приводил его к вечеру без молока. Айна была умная и узнала, что кулацкие и зажиточные жены выдаивают коров вдалеке. Она тайно добежала до директора Умрищева, но Умрищев сказал ей: «Не суйся, работай под выменем, чего ты все бесишься?»

Айна не вернулась в стадо, а пошла в районный комитет партии. К ней пристали еще две подруги-доярки, которые бежали навсегда от жизни в степи, Айна же шла по делу. Божев скакал за ними полдня; доярки прятались, но Божев разглядел их с лошади и опять бил Айну кнутом как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Айна говорила ему, что идет выходить замуж за тракториста, Божев же спросил у нее отпускной талон и снова рубцевал, что не было талона. Однако двух других доярок Божев не задержал, и они убежали, довольные, что спаслись, и пропали бесследно. Когда Божев остался с Айной один в пустых местах, он вдруг весь осознался и стал напуганным. От страха смерти, которая достанется ему за порчу батрачки, Божев вдруг полюбил Айну. Он задумал так сильно и искренне обнять Айну, чтобы его любовь дошла к ней до сердца и она бы за все простила ему и согласилась быть женой. Он стал добрым, плакал до вечера у бедного подола Айны, обнимал ее измученные ноги и бегал в истоме по песчаным барханам. Айна все время не давалась ему, потом опять пошла дальше в район. Но Божев вновь достиг ее и шел за ней молча, бросив лошадь, а вечером изувечил ее, когда Айна усталая и измученная легла на землю. Айна схватила Божева за горло, когда была под его тяжестью, и душила его, но сила клокотала в горле Божева, он не умер, а сестра Мемеда ослабела и заснула. Наутро Божев оправил оборванную Айну, отыскал лошадь, подпоясал доярку бечевой от своего кнута и повез женщину на гурт, все время искренне лаская доярку за плечи, а встречным людям говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил. Айна стала смирная; ей дали два выходных дня подряд, и она, обмывшись в бане, ходила по полю с Мемедом и так целовала брата, что плакала от своей жадности и нежности к нему. Потом она сказала Мемеду, как большому, все, что было, и ушла за конфетами в совхозный

кооператив. Целую ночь она не приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре месяца.

* * *

Божева осудили и увезли в городскую тюрьму. Там его вывели однажды во двор и поставили к ограде, сложенной из старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти ветхие кирпичи, которые до сих пор еще лежат в древних русских крепостях, погладил их рукой в своей горести, и — и вслед за тем, когда Божев обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердою силой ударивший ему в грудь, и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и был уже мертвым; он только сполз по стене вниз.

Умрищев же сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; благодаря этому его послали работать в колхоз, ограничившись вынесением достаточно сурового выговора. В колхозе же, расположенном невдалеке от «Родительских Двориков», Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа — это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот; до некоторого времени названные обратные действия Умрищева имели успех, так что бывшего директора колхозники выбрали своим председателем. Но впоследствии Умрищева ожидала скучная доля, о которой в свое время стало известно всем...

* * *

Уезжая, член правления скотоводческого треста и секретарь райкома определили гурту «Родительские Дворики» быть самостоятельным мясосовхозом, а директором нового мясосовхоза назначили Надежду Босталоеву, носящую в себе свежий разум исторического любопытства и непримиримое сердце молодости.

В помощники себе Босталоева взяла Федератовну, а Николая Вермо назначила главным инженером совхоза. Зоотехник Височовский пришел к Босталоевой в землянку и вежливо, тщательно скрывая свою производственную радость, поздравил Босталоеву с высоким постом. Он надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся

в прежних временах, при социализме возобновится вновь, и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни.

— Теперь засыпается пропасть между городом и деревней,— сказал Високовский,— коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку... Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена...

— Будет еще лучше,— обещала Босталоева.— Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии... Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Високовский ушел и на совхозном подворье подхватил и унес к себе своего любимого подсвинка.

Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну.

— Вермо,— сказала она.— В прошлом году «Родительские Дворики» поставили пятьсот тонн мяса, в этом году нам задали тысячу тонн, а поголовье увеличивается только процентов на двадцать, потому что мало пастбищ и мало воды...

Вермо улыбнулся.

— Мы должны выполнить, Надежда,— ответил инженер.— Москва вызывает нас на творчество, нормальной мещанской работой взять такого плана нельзя,— значит, в центре доверяют нашим силам...

— Партия слишком уж любит массы,— сказала Федератовна,— оттого она и ценит так ихний ум. Без ума нам этот план сроду не взять!

— Мы поставим три тысячи тонн говядины,— высказалась Босталоева,— мы не только трудящийся, мы творческий класс. Правда ведь, товарищ Вермо?

Инженер молчал; он воображал великий расчет партии на максимального человека массы, ведущего весь класс вперед,— тот же расчет, который имел сам Ленин перед Октябрем месяцем семнадцатого года.

— Да-то, ништ, не правда? — ответила Федератовна.— Уже дюже массы жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укороту им нету!

Вермо ушел в полынное поле и только что приготовился подумать о выполнении огромного плана, как ему в лицо подул дальний ветер с запахом горелой соломы. Инженер почувствовал, что этот ветер ему знакомый — ветер не изменился, изменилось и выросло лишь тело Вермо, но и в глубине его тела осталось что-то маленькое неизменное,— то,

чем вспомнил он сейчас этот теплый ветер, пахнущий дымом далеких печек, второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних мест. Вермо обратился к самому себе и ощутил свое сердце, все более наполняющееся счастьем,— так же, как в детстве тело наливается зреющей жизнью. Когда же дул этот ветер в первый раз в лицо Вермо? Он обернулся на «Родительские Дворики». Там робко дымила одна печная труба,— это кухонные мужики растопляли кухню для обеда; шло лето, грусть роста и надежды на еще несбывшееся будущее расстилалась по неровному миру,— это уже чувствовал Вермо когда-то, в свой забытый день. Над «Родительскими Двориками» не хватало мельницы, мелющей зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал. И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали,— не было отца и матери, но зато в совхозе были Босталоева, Федератовна, Височковский, а мельницу можно построить... Вермо вспомнил летний день детства на окраине родины — маленького города — и этот ветер, который нес тогда дым жизни далеких и незнакомых людей.

Мельницу же в «Родительских Двориках» надо построить теперь же. Сила ветра будет качать сейчас воду из колодца, а осенью и зимою, когда дуют самые плотные ветры, сила воздушного течения будет отапливать помещения для скота, где целых полгода зябнут и худеют коровы. Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом зимы: скучную силу осеннего ветра и зимнюю пургу, поющую о бесприютности жизни, наступило время превратить в тепло, и во вьюгу можно печь блины.

Вечером Вермо сказал Босталоевой, как нужно отопить совхоз без топлива. Босталоева позвала Височковского, Федератовну, кузнеца Кемаля, еще двоих рабочих, и все они прослушали инженера.

Кемаль заключил, что дело ветряного отопления — безубыточное, он сам думал о том, только, не зная электричества, хотел, чтоб ветер вертел и нагревал трением какие-либо бревна или чурки, а чурки тлели бы и давали жар; однако это технически сумбурно.

— А хватит нам киловатт-часов-то? — спросила Федератовна.— Ты амперы-то сосчитал с вольтами? — испытывала старуха инженера Вермо.— Ты гляди, раз овладел техникой!.. А проволоку, снур и разные частички где ты возьмешь? Мы вон голых гвоздей второй год не допросимся, алебастру, извести и драни нету нигде...

— Я поеду в район, в край и достану все, что нужно, сама,— сказала Босталоева, запечалившись вдруг отчего-то.— Високовский, сколько мы нагоним мяса, если в скотниках будет тепло?..

— Можно телят выпанвать круглый год,— размышлял Високовский.— Весной мы родили две тысячи телят, а теперь будем осеменять коров круглый год — получим минимум три тысячи телят, на добавочную тысячу больше. Это при том стаде, какое у нас есть...

Далее Високовский сделал расчет на бумаге; он сообразил, сколько дадут товарного мяса добавочные телята, на сколько самое меньшее пополнеют благодаря теплу взрослые животные, и выразил цифру: 300 тонн чистого живого мяса, не считая громадной прибавки молока и масла от улучшения бытовых условий.

— Почти двадцать вагонов! — обрадованно произнесла Босталоева.— Мы это сделаем, товарищ Вермо! Бабушка, ты будешь бригадиршей на постройке... Бабушка, возьмись по-старинному, когда великаны жили, говорят...

— Обожди, девчонка! — осерчала Федератовна.— Великаны были только сильны, а по уму любой цыпленок норовистей их. Обождите, вам говорят!.. Если на небе тихо, а на дворе мороз в тридцать градусов по Реомюру, в тридцать семь по Цельсию: вы тогда — что?!

Вермо выдумал быстрее, чем кончила Федератовна:

— Мы, бабушка, из коровьих лепешек брикетов наделаем в запас. Пусть Кемаль сделает деревянный пресс для обжима и брикетирования коровьих лепешек...

— Я уж ему двенадцать раз говорила, дураку,— сказала Федератовна.— Лежит зимой добро по всему гурту, а скот зябнет...

— Мне оппортунист Умрищев не велел,— оправдался Кемаль.— Я несколько раз докладывался: пора, говорю, нам заготовить деревянный блюмниг, что ж это такое? — Коровы ведь зарождают в туловище не одно молоко с мясом, а и топку! Давай, говорю, мне двух плотников и слесаря на помощь — я тебе из коровьего желудка центральное отопление поставлю...

— Кто будет крутить ваш брикетный пресс? — спросил Вермо.

— Два вола,— сообщил Кемаль.

— Нет, ветер,— не согласился инженер,— не тратьте животных, живите за счет мертвой природы.

— Я люблю вас, гражданин Вермо,— произнес Високовский.

— Ветер лучше,— согласился Кемаль.— Пресс можно крутить, когда ветряк не нужен для тепла.

Федератовна хоть и была довольна, но не очень — она потребовала от Вермо, чтобы он составил проект с экономической стороной, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма, что даже для верного друга требовала предосудительного контроля,— мало ли совершается в советском мире расточительства благодаря действию слишком радостных чувств?

Вермо согласился составить проект, а Федератовна пошла заботиться по советскому мясному хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре, объясняя это тем, что она уже старая и ей было достаточное время выспаться при империализме.

Под вечер старуха села в совхозную таратайку и поехала по всем пастбищам, по всем стадам, нажевывающим себе тело в степях; и когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны,— этот звук старушечьей езды наводил жуть на нерадивых гуртоправов, потому что невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны, умудренной хитростью классового врага. Даже лучшие доярки вздрогнули, когда узнали, что старуха стала помощником директора. Покойница Айна давала больше всех работы — она выдаивала по 190 литров молока в сутки при норме в 125; бабушка же однажды просидела в степной ферме трое суток и надоила 700 литров.

— Сучки-подкулачницы,— сказала тогда Федератовна двум бабам-лодырям.— Только любите, чтоб вам груди теребили, а до коровьих грудей у вас охоты нет.

Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовье, а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с таратайки и бдительно осматривала скотину, особенно быков — их она пробовала кругом, даже вниз к ним заглядывала: целы и здоровы ли у производителей все части жизни.

Сейчас уже далеко звучала таратайка Федератовны и удалялась все более скоро, потому что старуха совала рукой в кучера и пилила его сзади своими словами.

В эту ночь, когда поднялась луна на небе, животные перестали жевать растения и улеглись на ночлег по балкам и понизовьям, напившись воды у колодцев, несъеденная трава тоже склонилась книзу, утомившись жить под солнцем, в смутной тоске жары и бездождия. В этот час Боста-

лоева и Вермо сели верхами на лошадей и понеслись, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара...

Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека в прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нищеты земли. Не умея жить без чувства и без мысли, ежеминутно волнуясь различными перспективами или томясь неопределенной страстью, Николай Вермо обратил внимание на Босталоеву и немедленно прыгнул на ее коня, оставив своего свободным. Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос, думая в тот же момент, что любовь — это изобретение, как и колесо, и человек, или некое первичное существо, долго обвыкался с любовью, пока не вошел в ее необходимость.

Босталоева не сопротивлялась — она заплакала; обе лошади остановились и глядели на людей.

Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше.

— Зачем вы целуете меня в волосы? — сказала вскоре Босталоева.— У меня голова давно не мытая... Надо мне вымыться, а то я скоро поеду в город — стройматериалы доставать.

— Стройматериалы дают только чистоплотным? — спросил Вермо.

— Да,— неясно говорила Босталоева,— я всегда все доставала, когда на главной базе работала... Вермо, сговоритесь с Височовским, составьте смету совхозного училища; нам надо учить рабочих технике и зоологии. У нас не умеют вырыть колодца и не знают, как уважать животных...

Но Вермо уже думал дальше: колодцы же ветхость, они ровесники происхождению коровы как вида; неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза — самого обильного и самого безводного. После того пастбища — на восток — уже начиналась непрерывная пустыня, где в скучной жаре никого не существует.

Худое стадо, голов в триста, ночевало на беззащитном выпуклом месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.

Редкий ковыль покрывал здешнюю степь, при этом много росло полыни и прочих непищевых бедных трав. Из

колодца Вермо вытащил на проверку бадью — в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи — погребенной почвы.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизали свои жаждущие рты.

— Здесь так плохо! — проговорила Босталоева с болезненным впечатлением.— Смотрите — земля, как засохшая рана...

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку.

— Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды — она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо, и, кроме того, трест предполагал увеличить стадо «Родительских Двориков» на две тысячи голов, но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежат умершие пространства пустыни, где трава вырастает только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде,— тогда бы корма утроились, скот не жаждал, и полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений. Если брикетирование навоза и пользование ветром для отопления даст триста тонн мяса и двадцать тысяч литров молока, то откуда получить еще семьсот тонн мяса для выполнения плана?

— Товарищ Босталоева,— сказал Вермо,— давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

— Давайте, Вермо,— ответила Босталоева.— Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть — не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока.

Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли, лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами, и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выдели-

лось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...

— Ну как засиделая девка в шалаше,— обратно объяснил пастух инженеру.— Выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако, опершись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?

На обратном пути Вермо погрузился в смутное состояние своего безостановочного ума, который он сам воображал себе в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались оборвавшиеся от борьбы диалектические сущности техники и природы. Не было того естественного предмета или даже свойства, судьбу которого Вермо уже не продумывал бы навеки вперед; поэтому он и в Босталоевой видел уже существо, окруженное блестящим светом социализма, светом таинственного летнего дня, утонувшего в синеве своих лесов, наполненного чувственным шумом еще неизвестного влечения.

Когда же Вермо глядел на конкретный облик Босталоевой и на других ныне живущих людей, вырывающихся из мертвого мучения долготы истории, то у него страдало сердце и он готов был считать злобу и все ущербы существующих людей самым счастливым состоянием жизни.

* * *

Возвращаясь среди утренней зари на «Родительские Дворики», Вермо и Босталоева встретили бригаду колодезников, и Босталоева велела колодезному бригадиру прийти вечером к инженеру Вермо, чтобы решить вопрос о добыче подземных морей.

Молодой бригадир Милешин невнимательно потрогал ногу Босталоевой, сидящей на лошади, и ответил:

— Товарищ директор. Прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозы-совхозы. Я добился как факта, что у нас нет воды,

ее не хватит социализму — у иас только есть одна сырость, одии земляной пот... Я вечером приду.

Босталоева сняла шапку с бригадира гидротехников и пошевелила ему волосы.

Далее инженер и директор поехали по малоизвестной ближней дороге, и вскоре им представился странный вид земли, будто оба человека очутились в забытом сне: пространство лежало ие в шириину, а в толщину, и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучио и душио в мире, несмотря на окружающую прелесть свежего дня.

«Надо использовать тяжесть планеты! — заботливо решил Вермо, иаблюдая эту толщину местиой земли.— Можно будет отапливать пастушьи курени весовою силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород...»

Мелкий человек с большой бородой стоял невдалеке на толстой земле и читал книгу при восходящем солнце. Простосердечиый Вермо решил, что тот человек полюбил теорию и думает, вероятно, о пролетарской космогонии, иаблюдая одновременно солице в упор. Но Босталоева сразу рассмеялась:

— Это Умрищев,— сказала она.— Ои думает, что тут было при Иване Грозном: не лучше ли?

И действительно, то стоял в глубоком размышлении Умрищев, держа ветхую книгу в руках. Он небрежно глядел в сияющую природу и думал о чем-то малоизвестном; лицо его слегка похудело, ио зато гуще обросло волосом, и в глазах иаходилось постояиное углублеиие в кореиные вопросы человеческого общества и всего текущего мироздания.

Ои не заинтересовался конными людьми, ответил только на привет Вермо и дал необходимое разъяснение: что колхоз его отсюда недалеко — виден даже дым утрениих похлебок, что сам он там отлично колхозирует и уже управился начисто ликвидировать гиусную обезличку, и что теперь ои думает лишь об усовершенствовании учета: учет! Умрищев вдруг полюбил своевременность восхода солнца, идущего навстречу календарному учтенному дию, всякую цифру, табель, графу, наметку, уточиеиие, талон и теперь читал на утренней заре Науку Уииверсальных Исчислений, издаииую в 1844 году и принадлежащую уму барона Корфа, председателя Общества Поощрения Голландских Отоплений. Одновремеино Умрищев заиитересовался что-то принципиальной сущностью мирового вещества и предполагает

в этом направленни предпринять какие-то философские шаги.

Босталоева скучно и гневно поглядела на Умрищева и пустила лошадь в сильный бег; эта женщина не верила в глупость людей, она верила в их подлость.

Вермо оглянулся издали на Умрищева — все так же стоял человек на толстой земле, вредный и безумный в историческом смысле. Вермо сейчас же предложил Босталоевой собрать все районные невыясненные и подопытные личности в одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном или хотя бы полузаводском масштабе, с тем чтобы заблаговременно создать для будущих поколений памятники последних членов отживших классов; Умрищев ведь тоже хотел, как нравственная и разумно-культурная личность, быть занесенным в список штатных единиц истории!

Босталоева ответила, что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ,— теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое, н серые глаза были открыты как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающую силу Босталоевой н тут же необдуманно решил нспользовать свет человека с народнохозяйственной целью; он вспомнил про электромагннтную теорню света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения. Вермо вспомнил далее первнчную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягался на востоке н слабел от сопротнвления бесконечности, наполненной мраком,— и Вермо, опершись тогда на быка, утратил в темноте своего тела пробуждавшееся рацнональное чувство освещенного неба.

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

— Товарнщ Босталоева,— сказал он, — дайте мне руку...

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными рукамн, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размышлению,— у него даже остыло все

тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение «Родительских Двориков», беспомощное издали, особенно если сравнить с Двориками небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

* * *

К ночи Босталоева назначила производственное совещание.

Колодезный бригадир Милешин, зоотехник Височовский, инженер Вермо, Федератовна, кузнец Кемаль, пять гуртоправов (потому что совхоз состоял из пяти участков) и старший пастух Климент, выбранный как природный практик председателем производственного совещания, присутствовали на этом собрании уже загодя. Повестка дня состояла из вопросов переустройства всего мясного хозяйства, ради того чтобы произвести говядины в совхозе не тысячу тонн, как задано планом, а две тысячи; далее следовало задуматься над пастбищами для прокорма новых двух тысяч коров и сорока быков, о которых в дирекции получено письмо, что они гонятся пешим шагом из соседнего района — отсюда полтораста верст.

Как только опустилась вечерняя заря, так приехала и Босталоева из степи, закончив где-то свои дневные заботы.

Климент, глядя на солнце привыкшими глазами, сказал заседанию, что пора уж хозяйски думать о социализме, чтоб в степи было все экономично и умело.

— Во мне, вот, лежит большевистский заряд,— сказал Климент.— А как начну им стрелять в свое дело, так выходит кой-что мало... Ты стараешься все по-большому, а получается одна мелочь — сволочь! Ты скотину напитаешь во как, я сам траву жую, прежде чем скотину угощаю, а отчет мне показывают — по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!.. На центральном гурте взяли сорок рабочих всякого пола из колхоза, по сговору,— мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются — я сам на них пот щупал,— а все на моем гурте как было плохо, так стало еще хуже... Недосмотрю сам — скотина стоит в траве голодная, а не ест: непоеная! А мужики мои аж скачут от ударничества, под ними волы бегом бегут, а куда — неизвестно, кликнешь — они назад вернутся, при-

кажешь — тужатся, проверишь — проку нет. Это что такое, это откуда смирное охальство такое получается? Злой человек — тот вещь, а смирный же — ничто, его даже ухватить не за чего, чтобы ударить!..

— У нас классовая борьба,— тихо сказала Босталоева.

— Да то что ж! — сразу согласился Климент.— А то не она, что ль?

— Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный? — спросила Федератовна.— Из какого этого колхоза тебе помощь дали?

— А из того, матушка-старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не денется, хотя вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население всех про электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как — не знают...

— Вермо,— обратилась Босталоева,— поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Високовский вручил Босталоевой бумагу, где описывалось суточное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока — и между прочим отмечалась бесследная пропажа восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы выпустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море — для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна по своей скупости на социалистические средства не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем безусловно является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед за тем собрание начало

думать, куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что, ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни, но Кемаль, с мгновением столь же оживленного разума, предложил резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища.

— Резать камень надо не железом, а электрическим огнем: двое рабочих могут заготовить и сложить тысячу ското-мест! — враз сообщил Вермо.

— Хорошо сказал! — обрадовался Кемаль и тут же сказал еще лучше: — А соединять плиты друг с другом мы будем электрической сваркой — такой же вольтовой дугой, которой мы нарежем плиты в карьерах!..

Вермо вытер заслезившиеся от восторга глаза и встал на ноги, будучи рад всеобщей радостью.

— Вы забыли про брикеты,— напомнила Босталоева; ее глаза побелели от усталости, она наклонилась на свои руки и потеряла во сне сознание.

Проснулась она уже поздно ночью в своей комнате и сразу велела запрягать лошадь, чтобы ехать до железной дороги и выспаться в степной повозке.

Босталоева решила немедленно достать в краевом центре стройматериалы и оборудование и построить до зимы новые коровьи помещения, а также отопительный ветряк с динамо-машиной и пресс для брикетирования... Что касается девственных морей, то Босталоева задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой стать инженером и проверить проект Вермо; а сейчас начать эту работу она стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги. Был еще один трудный выход: перевыполнить вдвое-втрое план, получить премию и добиться согласия всех рабочих совхоза приобрести на премиальные деньги машину для бурения земли электрическим огнем. Что мешало этому?

В совхозе играла хроматическая гармония; это Вермо выдумывал музыку — он чаще всего играл свои текущие сочинения и сразу же их забывал.

Вокруг совхозного поселения лежала неизвестная тьма, укрыв дальние и беззащитные стада; еще далее тех стад были колхозы, деревни, бывшие уездные города — тысячи дружелюбных и ненавидящих людей; советские коровы сейчас лежали у водопоев, быки храпели, и равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь, чтоб не скучать от голода во сне... Только десятая часть пастухов была ком-

мунистами, которые старались спать днем, и то посменно, а ночью они ходили во тьме с открытыми глазами. Если каждые сутки будет исчезать по восемь коров, то сколько можно отправить мяса в Донбасс и Сталинград?

Босталоева сложила в чемодан два запасных платья, ведомость потребных стройматериалов и оборудования, белье, поглядела на себя в зеркало и села на кровать в одиночестве. «У меня ведь нет родственников! — вспомнила она.— Была одна сестра, но мы забыли писать письма друг другу!.. Не забудь узнать в Ветеринарном институте,— Високовский не напомнил мне,— как добывают семя из мочи для искусственного оплодотворения... Вермо! Я хочу выйти замуж за тебя при социализме; а может быть, расхочу еще!»

Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: ввиду выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла — живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование. Свободные доярки и рабочие слушали музыку Вермо и его разъяснения о значении исполняемой музыки и тогда только верили, что это так.

Босталоевой подали повозку. Она вышла в дорожном плаще, ее черные волосы блестели от света через окно, и ей стало страшно уезжать из совхоза, когда он остался один во тьме.

Она позвала Федератовну, велела ей ехать завтра вместе с Вермо в умрищевский колхоз, увидеть все, что следует, и, если нужно, поставить в райкоме вопрос о немедленной ликвидации остатков кулачества и об удалении из района мясосовхоза всех буржуазных, жестких элементов, иначе хозяйство вести нельзя.

— Я заеду сама в райком,— сказала Босталоева.— Проверьте лучше электрон Умрищева: по-моему, это его новый политический лозунг.

— С Умрищевым я одна управлюсь,— высказалась Федератовна,— электрон я знаю что такое, меня физики научили, это такая частичка, а лозунги я чую, даже когда сам оппортунист молчит про них! Поезжай, девочка,— наган не забудь взять!

Вермо опечалился. Дерущиеся диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума.

— Надежда Михайловна,— произнес Вермо,— я ехал с вами утром и увидел на небе электромагнитную энергию! Нам нужно сделать оптический трансформатор — он будет превращать пульсацию солнца, луны и звезд в электрический ток. Он будет питаться бесконечным пространством, он...

— Да остановись ты думать хоть ради человека-то,— обиделась на Вермо Федератовна.— Человек уезжает, а он бормочет — голову ей забивает. Девке и без тебя есть забота: иль мы сами физики не знаем, один ученый какой! Что ты, при капитализме, что ль, живешь, когда одни особенные думали!

— До свиданья, Вермо,— подала руку Босталоева.— Делайте пока земляные работы, а я привезу оборудование...

С теми словами Босталоева уехала в темноту, в далекий краевой город.

* * *

В одно истекшее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой — директора мясосовхоза «Родительские Дворики» остановилась в селе у районного комитета партии. Различные партийцы расположились кругом комитета на раннем солнце; многие спали с омертвевшими впадинами глаз, другие говорили что-то и глядели в широту пространства, где было много положено их молодости и силы и где сейчас уже стлался газ тракторов, блестел тес новостроек, шли на работу бригады людей,— пустоту и скорбь капитализма сменял многолюдный социализм.

Секретарь райкома спал: он лег в постель не далее двух часов назад, потрудившись всю ночь. Босталоева не хотела ждать и вошла в комнату спящего секретаря. Он открыл глаза и узнал ее сразу, потому что все время помнил о ней и втайне ожидал ее, хотя и не имел никакой надежды.

Босталоева сообщила свою просьбу; секретарь лежа прослушал ее, не понимая вначале ничего. Она ему нравилась как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по беспрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения, так же как и сам секретарь.

— Про умрищевский колхоз мы уже знаем кое-что,— сказал секретарь в ответ.— Вчера мы постановили на бюро проверить положение колхозов вокруг твоего совхоза и выжечь остатки кулачья.

Босталоева попрощалась с секретарем и уехала. Секретарь райкома засмотрелся ей вслед с крыльца дома — ему

стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали из дружбы — и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения.

В краевом городе Босталоевой негде было остановиться. Все гостиницы давно наполнились безвыездными инженерами и квалифицированными рабочими Ленинграда и Москвы. Босталоева попала в город в ту пору, когда в нем почти не было приюта, потому что буржуазно-семейные убежища строители снесли впрах, а новые светлые сооружения еще не просохли для вселения.

Тогда Босталоева поселилась в том учреждении, где она хотела достать стройматериалы: ей пошел навстречу местком, который отвел ей для ночлега свою комнату и дал зеркальце как члену союза и женщине. Ночью Босталоева открыла окно из месткома и засмотрелась в освещенное, гремящее строительство заводов, улиц и жилых домов. В учреждении было темно; молча лежали архивы, скрывая в бумагах бюрократизм, вредительство, бред мелких исчезающих классов и воодушевленный героизм. Босталоева прошла по коридорам гулкого учреждения, потрогала папки в шкафах и серьезно задумалась в скучной пустоте канцелярий.

Вымывшись в ванне, которая вполне разумно была приурочена к какому-то кабинету, Босталоева переоделась в чистое белье и легла спать на столе месткома, слушая через открытое окно шум ночной работы, голоса людей, смех женихов и невест, завыванье напряженных машин, гудки транспорта, песни сменившихся красноармейских караулов — весь гул большевистской жизни.

Она заснула успокоенная и счастливая, не услышав, как во второй половине ночи по ней ходили крысы.

Наутро Босталоева пошла ходатайствовать о бревнах, гвоздях, о динамо-машине, о проволоке и о железных частях для пресса...

В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих соображали о снабжении тысячи строительств и беспрерывно бились на плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда.

В углу того зала сидел молодой еще, но уже поседевший ответственный исполнитель по разнарядке стройматериалов; он уныло глядел в чад пространства своего учреждения,

не видя возможиостн удовлетворить самым иеобходнмым даже ударные строительства и спецработы.

Босталоева подошла к иему.

— Мие нужен ящик гвоздей,— сказала оиа.

Исполиитель улыбиулся и отечески-ответствеиио сообщил ей:

— Голубушка моя, мне гвоздей нужио десять тысяч тоии!.. Вы откуда?

Босталоева уселась и с задушевиостью иадежды рассказала исполиителю всю нужду своего совхоза.

Когда оиа говорила, к исполнителю подошли еще посетители и местные служащие; все они слушали женщину и явио улыбалнсь иад ее просьбой о внеплановом снабжеиии, ио сам исполиитель был грустеи.

— На весь ваш райои мы дали пол-ящика гвоздей: возьмите оттуда себе горсть! — сказал исполиитель, привыкиув к строительиому страданию.

Все люди, бывшие близко, удовлетвореиио засмеялись: оии пришли по делам плаиового сиабжеиия и действовали ие иа основе искренности, а посредством высшего комбиннроваиия.

— Вы сволочь! — пронзиесла Босталоева.— Дайте мие ваш бумажиый плаи, я выдумаю вам гвозди!

Ответственный нсполнитель сначала составнл акт об оскорблеиии себя в присутствии свидетелей, а затем дал ей плаи, поскольку это было его обязаиностью.

Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство просило жадио и каждому давалось мало,— она не могла указать, кого иадо обездолить, чтобы совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тоииы проволоки-катанки, назначенной в коитору оргтары для опытиой увязки.

Босталоева пошла к иачальиику учреждеиия с плаиовой ведомостью в руках; иачальник, оголтелый от голода иа стройматерналы, сидел среди чада в своем кабинете, окружеииый миоголюдством ходатаев по делам. Его убеждалн, перед иим открывали очаровательиые перспективы пускового чугунного завода, еслн только начальник даст гвоздей, ему угрожали карами вышестоящих инстаиций и его угощали экспортными папиросами; иачальиик глядел в воздух сквозь дремоту своей усталости н, втайие радуясь, полагал про себя: «Старайтесь, крутитесь, чертн, инчего я вам ие дам: учитесь изобретать и находить подиожиые ресурсы!»

Заметив иеслужебиое лицо Босталоевой, иачальник сра-

зу подозвал ее и вник в ее дело. Босталоева предложила иачальнику отдать ей полтоииы катанкн, а оиа вместо катаики сделает в совхозе опытную увязку нз соломы н пришлет ее орга-таре.

Начальник учреждеиия, пожилой рабочий, вдруг потерял свою дремоту н ясиыми глазамн оглядел всю Босталоеву:

— Тебе сколько — полтонны нужно? — спросил ои.— Возьми себе все четыре, ты из иих дело сделаешь... Горюиов! — крикнул ои блнжиему секретарю.— Сиять катаику с орга-тары, переиарядить ее «Родительским Дворикам»! Поставь вопрос об этой орга-таре перед РКИ, пускай ей шерсть там опалят: надо показать мерзавцам, что металл бывает горячий. Верещасиый! — провозгласил начальиик поверх гула учреждення в сторону ответствениого исполнителя.— Зайди ко мне после заиятий, я тебя, может, уволю за проволоку...

В тот же деиь Босталоева отправила три тоииы катанки иа совхоз, а одну тонну оставила иа складе; затем — уже к вечеру — оиа явилась иа гвоздильный завод и попросила директора нарубить ей нз проволоки гвоздей.

— За что мие их вам рубить? — сказал директор.— За ваши глаза?

— Да,— ответнла Босталоева н посмотрела на иего своими обычиыми глазамн.

Директор глянул на эту женщнну н ннчего не сумел промолвить; сколько он ин отправлял в республнку продукции, выгоияя промфииплан до полутораста процентов, республика все говорнла — мало даешь — н сердилась. И теперь стояла перед инм эта женщнна, требовательиая, как республика, н также лишенная пока богатых фондов н особой прелестн.

— Разве поцеловать вас за гвозди! — улыбнулся директор.

— Ладно,— согласилась Босталоева.

Директор с удивлением почувствовал себя целнком— от ног до губ — как твердое тело и даже виутри его все части стали ощутительными — до этого же ои нмел только одно сознанне наверху тела, а что делалось во всем его корпусе — не чувствовал.

— А вы не обиднтесь? — спросил днректор, бднтельио иаблюдая кабннет: иигде ие слышио было шагов, телефои молчал, вентнлятор гудел ровио, как безмолвиый.

— Не обижусь,— ответила Босталоева.— Но вы, наверно, ие такая сволочь...

— Нет,— спокойно сказал директор, садясь на место.— Где ваша катанка? Вечером я сам стану за автомат, вы подождете десять минут и получите свои гвозди... Везите катанку сюда.

Директор равнодушно опустил голову к текущим делам. Босталоева сама подошла к нему и поцеловала его — таким способом, что впоследствии, когда Босталоева уже ушла, директор ходил в уборную глядеться в зеркало — не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах.

Вечером Босталоева получила гвозди на заводе. Директор сам вывез ей из цеха четыре ящика на электрокаре и взял расписку в получении продукции. Босталоева отправила гвозди на вокзал и пошла ночью под взошедшей слабой луной по новостроящимся гремящим улицам. Она читала вывески неизвестных ей организаций — «Химрадий», «Востокгаз», «Электробюро высоких напряжений», «Комиссия воздуходувок», «Контора тяжелых фундаментов», «НТО изучения вибраций промустановок», «КрайВЭО» и т. п.— и была рада, что таинственные, мутные и нежные силы природы действуют в рядах большевиков, начиная от силы тяжести и кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной, трепещущей в темной бесконечности.

Окна «КрайВЭО» были освещены; девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками; молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни, проверял на логарифмической линейке расчеты техников и показывал изуродованным рабочим пальцем в просчеты и ущербы чертежей.

Босталоева прислонилась лицом к оконному стеклу и долго смотрела на своих ровесниц и товарищей. Лунная ночь шла в легком воздухе, летние сады и травы по-прежнему произрастали на земле, но они были почти безлюдны теперь, как отжившее явление, никто не гулял по ним в праздности настроения.

Босталоева вошла в КрайВЭО, подумала в недоумении про свою долю и попросила динамо-машину в сто лошадиных сил у заведующего сектором снабсбыта. Заведующий ничего не сказал в ответ Босталоевой, только посмотрел куда-то мимо нее — в страну электрического голода. Босталоева прошла в своем мучении, что нету машины, по нагретым освещенным горницам учреждения, и ей понравился глубокий труд технической науки. Одна чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой; Босталоева тотчас же за-

метила эту человечность, и, склонившись над чертежной доской, две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку, ожидающему мать до полуночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину. По утрам та чертежница занималась в чертежно-конструкторском институте, а после, не заходя домой, сразу поспевала на работу; ночью же она старалась меньше спать, чтобы больше видеть своего ребенка. Босталоева обещала чертежнице приходить в ее комнату с вечера и заниматься с ребенком, пока возвратится мать.

На другой день Босталоева так и сделала, переселившись в жилище чертежницы на время командировки. Она рисовала четырехлетнему мальчику коров и солнце над ними, изобразила партийную умную старушку Федератовну, потом быка, коровью драку у водопоя; одинокий мальчик смотрел и слушал эти факты с пользой и удивлением. Наконец пришла мать, которая долго не давала спать ребенку и с подробностью рассказывала ему, что она делала в долгий день и про динамо-машину, которую она начала чертить в институте с натуры.

Босталоева сразу же узнала от матери-чертежницы, что это большая динамо-машина, она давно стоит в аудитории, как чертежная модель, но сколько в ней сил, неизвестно: завтра чертежница обещала списать табличку-спецификацию.

Утром Босталоева пошла в то учреждение, где она впервые стала на ночлег, и там ей дали повестку, чтоб она явилась днем в нарсуд — как ответчица по делу о названии сволочью государственного служащего.

Рабочий-судья прочитал вслух перед лицом интересующегося народа дело Босталоевой и вдруг дал свое заключение: ответчицу оправдать и вынести ей публично благодарность за бдительность в экономии материала, а истца-служащего признать действительной сволочью и предать наказанию, как неугодную личность. Народ вначале было озадачился, но потом обрадовался суждению судьи; истец же наклонил лицо и публично опозорился, впредь до особых заслуг перед рабочим классом.

Из камеры суда Босталоева ушла, как артистка,— под звуки всеобщих приветствий, и сам судья воскликнул ей: «До свидания, приходите к нам еще выявлять эти элементы!»

Была еще середина дня, шло жаркое лето и время пятилетки. Заботливая тревога охватила сердце Босталоевой, когда она остановилась среди краевого города,— с жадно-

стью оиа глядела иа доски и бревиа построек, иа грузовики с железиыми прииадлежиостями, иа провода высокого иапряжеиия,— оиа болела, что в ее совхозе миого одиой только природы и иет техиики и стройматериалов. Еще Босталоева страдала о том, что мало будет мяса для гремящего иа постройках пролетариата, если даже «Родительские Дворики» дадут две тысячи тоии,— и ей иадо поскорее маиеврировать.

Босталоева зашла в ииститут к подруге-чертежиице и увидела старую дииамо-машииу, с которой студеитки чертили детали. Оиа прочитала иа иеподвижиой машиие иадпись, что в ией 850 ампер, 110 вольт, ио ие зиала — сильио это или слабо. Выйдя из ииститута, оиа иаписала телеграмму Вермо, что машииа есть, ио в ией 850 ампер и по ией учатся черчеиию молодые кадры; как же быть?

Ночью иижеиер Вермо прислал Босталоевой ответиую телеграмму: «Придумал более совершеиииую, современиую коиструкцию дииамо-машииы, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в иужиый цвет и вышлем багажом ииституту. Так как чертить можио с деревяииой разбориой модели — обмеияйте иашу деревяииую иа ихиюю металлическую, иаша деревяииая коиструктивио лучше, для черчеиия полезией».

«Дорогой мой Вермо,— подумала Босталоева.— Где живет сейчас твоя иевеста? Может быть, еще пиоиеркой с барабаиом ходит!..»

На другой деиь Босталоева вошла к секретарю ячейки чертежио-коиструкторского ииститута. Побледиевший человек, спавший позавчера, выслушал жеищииу и встал со своего места с восторгом.

— Отправляйте сегодия же иашу дииамо в ваш совхоз! — воскликиул ои, иаполиившись созиательиой радостью.— Мы будем чертить траисформатор, пока ие привезут деревяииую модель вашего иижеиера... Сколько, вы сказали, добавит мяса дииамо-машииа? — я забыл.

— Сто или двести тоии,— сообщила Босталоева.

Ей захотелось сейчас сделать какое-иибудь добро этому товарищу; оиа любила всякое свое чувство сопровождать веществом другого человека, ио секретарь глядел иа иее отвлечеиио, и оиа воздержалась.

Через иесколько суток секретарь сам построил упаковочиые ящики и отправил дииамо-машииу в «Родительские Дворики», в то же время ои попросил еще раз приехать через полгода, ио Босталоева лишь косвеиио улыбиулась иа это.

— Тогда мы возьмем шефство над вашим совхозом! — провозгласил секретарь ячейки.

— Ладно,— согласилась Босталоева.— Вы помогите нам организовать в совхозе учебный комбинат. Нам хочется достать ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят и вы не успеете поесть наше мясо... Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами.

— Ювенильное море! — вскричал секретарь, сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо.— Мы добьемся через крайком в порядке шефства, чтоб теперь же у вас был технический комбинат!

— Нам нужна электротехника, гидрология и наука о мясном животноводстве,— говорила Босталоева,— плюс еще общая подготовка.

— Даю! — радовался секретарь.— Сегодня же поставлю шефство на ячейке и на общем собрании. Обними меня.

Босталоева обняла это худое тело, выгорающее сразу от всех лучших причин, какие есть в жизни.

— Достань мне электрические печи для коровников,— скромно улыбнулась Босталоева, не переставая оглядывать секретаря,— и арматуру для них, и наружные изоляторы, и еще кое-что... На тебе спецификацию.

— Печей нету нигде,— отказал секретарь, уходя в сторону.— Через месяц у нас будет практика в конструкторских мастерских: сделаем через два месяца в порядке шефства, давай спецификацию! Тебе не поздно?

— Ладно,— разрешила Босталоева,— мне даже рано, мне нужно к зиме.

Она ушла; секретарь склонил свою голову к столу и перестал чувствовать в сердце интерес к окружающим фактам.

— Буду шефствовать! — с горем выступающих слез воскликнул он и стал провертывать на столе текущие дела.

В тот день Босталоева уехала на подводе в леспромхоз. У нее появилось целесообразное желание — завести себе повсюду шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его.

В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, прежде чем успела добиться любви к «Родительским Дворикам» у всего треугольника. Однако же директор леспромхоза решил упрочить свою симпатию к мясосовхозу чем-нибудь более выдающимся, чем одно доброе настроение. И он написал двустороннее шефское обязательство, по которому леспромхоз немедленно отправлял в совхоз бревна,

доски, брусья, оболонки и различные жерди, а совхоз ежемесячно должен отгружать леспромхозу по две тонны мяса, в качестве добровольного угощения!

Но когда вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление рабочих, Босталоева объявила, что она согласна угощать рабочих, но только чтобы директор не ел ее мяса: потому что он допустил в подходе к шефству оппортунистическую практику, а она оппортунистов питать не хочет — она не гнилая либералка.

Сидевшее собрание встало наполовину при этих словах и отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором. Председатель профкома произнес свою речь, где он уничтожил всякий факт нищенства и угощенничества, в которых рабочий класс никогда не поиуждается.

Директор, пока слушал, уже успел написать в блокноте черновик признания своей правой, деляческой ошибки. На квартире он не спал всю ночь; он глядел через одинарное окно в тьму лесов, слушал голоса полуночных птиц и ожидал от тишины природы смирения своих тревожных чувств; но и тут он не мог успокоиться, поскольку такое отношение к природе есть лишь натурфилософия — мировоззрение кулака, а не диалектика. На рассвете директор вошел в контору и там написал чернилами раскаяние в своей ошибке и ордер на отправку «Родительским Дворикам» лесоматериалов в полуторном количестве против того, что просила Босталоева.

К вечеру того же дня Босталоева приехала обратно в крайцентр. Она уже тосковала по совхозу, у нее даже болел иногда живот от страха, что в «Родительских Двориках» что-то случится. У Босталоевой осталась теперь одна забота — заказать пресс для приготовления навозных брикетов, а потом уехать в степь. Промучившись целый ряд суток по всему кругу учреждений, Босталоева не нашла себе такого сочувствия, чтобы ей дали предметы для устройства пресса, и притом во внеплановом порядке. В горе своем Босталоева прошла в крайком партии. Там ее принял третий секретарь крайкома, старик, паровозный машинист; он пил чай с домашним пирогом и старался вообразить себе ясно этот пресс, делающий топливо из животных нечистот.

— Хорошо,— сказал в заключение старик, представив себе жмущую машину пресса.— Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты бы зашла ко мне сразу.

Старый машинист позвонил по телефону в Институт Не-

известных Топливных Масс и велел помочь «одной девице» жечь коровье добро, а вечером пусть институт сообщит ему на квартиру свое исполнение.

— Ступай теперь, умница, в этот институт,— сказал секретарь.— Там ребята тебе сделают пресс... Спроси инженера Гофта, это мой помощник — не здесь, а на паровозе... Если обидишься на что-нибудь, зайди опять ко мне.

По уходе Босталоевой секретарь долго был доволен... Доев домашний пирог, он пошел к первому секретарю краевого комитета и сказал ему, что настала пора обратить в топливо все животные извержения, лежащие на площади края. Первый секретарь согласился подумать над этой задачей в текущих делах бюро.

Когда наступило бюро, то на заседание вызвали как докладчика Босталоеву и двух теплотехников из Института Неизвестных Топлив. Обсудив мероприятие, бюро крайкома поручило институту сделать в течение двух месяцев два опытных пресса для «Родительских Двориков», а сам босталоевский совхоз превратить в свою опытную станцию, связавшись с инженером Вермо и кузнецом Кемалем.

Наполнившись счастьем своих достижений, Босталоева уехала наутро в «Родительские Дворики», навстречу будущему времени своей жизни.

* * *

Тем временем как Босталоева была в командировке, в «Родительских Двориках» умерло восемнадцать коров, и бык тоже умер.

Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте.

Федератовна же лежала десять дней больная животом и поносом и только терла десны во рту, не имея зубов, чтобы ими скрипеть.

Високовский лично производил вскрытие коров и нашел причиной их смерти крупную нечищеную картошку, которую им скормили либо нештатные пастухи, либо неизвестные подкулачники. Високовский призвал к павшим коровам выздоравливающую Федератовну и, заплакав редкими слезами, жалобно сказал:

— Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, а здесь животных воспитывают, а ваши кулаки их картошками ду-

шат, вашн колодцы сухнмн стоят... Еслн кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уж десять пудов веса было, я мясиого геиия выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это коитрреволюцня: я умру — или жаловаться буду!..

Федератовиа скучио поглядела на Височовского, как глядела оиа обычио на беспартнйных.

— Какие это иаши кулаки, дурак ты узкий!.. Езжай на дальиие степи стеречь гурты, я всех пастухов арестовала.

— Сейчас поеду,— вытерев лицо, смирно согласился Височовский.

Федератовиа сияла с работы также Вермо и Кемаля вместе с их бригадами, рывшими котловаиы под ветряиую мельиицу и еще под одно сооружеиие, смысла которого Вермо до приезда Босталоевой иикому не говорил,— всю эту живую людскую иаличиость Федератовиа бросила в мясиые гурты.

Сама же Федератовна села в таратайку н поехала без остаиовкн в умрищевский колхоз.

В колхозе была тншнна, из миогих труб шел дым, слабый от безветрня н солнечной жары,— это бабы пекли блиицы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копалнсь куры в печиой золе н нз века в век грелись старнкн на заваликах, доживая свою поздиюю жизнь. Грустиые нзбы неподвижно стояли под здешннм стариииым солицем, как бедиое стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза иа вышииу окружающих горнзоитов, н беззаботио храпелн мужики в сеицах, наевшись блиицов с чухоиским маслом. Еще на краю колхоза Федератовиа встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячне пышкн в совхоз своим арестованным мужьям-пастухам; одиако те бабы, видио, ие особо горевали, так как ихине туловища ходнли ходуиом от сытых харчей, н бабы зычио перебрехивались.

Тоска неподвнжиости простиралась над почериевшими соломеииыми кровлямн колхоза. Лишь иа одиом дворе ходил вол по кругу, вращая, быть может, колодезный привод; воднло, к которому был привязаи вол, оказалось слишком длнннным, так что для вола требовался большой круг и ему разгороднли соседине плетни; поэтому вол то выходнл на улнцу, то скрывался на гумио. Однноккий поющий звук ворота, вращаемого бредущнм одурелым жнвотным, был единствеииым нарушеннем в полуденной тишнне дремлющего колхоза.

Федератовна остановила свою таратайку и пошла сквозь по избам: ее всегда возмущала нерациональная ненаучная жизнь деревень, устройство печек без правильной теории теплоиспользования, общая негигиеничность и классовое исхищрение зажиточных жителей.

В первой же избе, которую посетила Федератовна, была бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала мер.

Федератовна как была, так и бросилась в печку и выхватила оттуда оба горшка голыми руками.

— Нет на вас образования, серые черти! — с яростью сказала Федератовна хозяйке.— Ведь жидкость-то расширяется от температуры, дура ты обнаглелая,— зачем же ты воду с краями наливаешь: чтобы жир убегал?.. А в колхоз небось шла — брыкалась! Да как же тебя, домовую, образованию научить, если прежде всего единоличного демона твоего не задушить в тебе... У-у, анчихристы, замучили вы нашего брата!.. Дай вот я к тебе еще приду... Я еще погляжу, как ты в ликбез ходишь, какая ты общественница здесь, дура неумильная!

Федератовна ушла с несчастным сердцем, а дворовая баба сначала обомлела, а потом ощерилась.

В другой избе Федератовна начала кушать молоко и сливки и раскушала, что это совхозная продукция, отнюдь не колхозная: слишком высок процент жира и пенка вкусна. Здесь старушка ничего не сказала, а только вздохнула с протяжностью и положила зло в запас своего сердца.

На следующем дворе мужик-колхозник экстренно помчался куда-то, не видя гостью, а гостья села на лопушок и обождала его; в запертом сарае в тот час кто-то томительно рыгал и давился, и вскоре оттуда же стали доходить мучительные звуки расставания с жизнью. Федератовна подошла к сараю и заметила в прореху, что там терзается корова, и еще две коровы стоят около нее, облизывая языками ее уже утомляющееся смертью лицо. В тот момент мужик примчался обратно: он держал в одной руке топор, а в другой квитанцию и, отперев коровник, умертвил свое животное топором, зажав квитанцию в зубах. Кончив дело, мужик засунул руку в пасть коровы и вынул оттуда громадную размятую картошку, обмоченную кровью и слизью.

В эти моменты некоторые жители уже управились заметить таратайку Федератовны, и зажиточные ребятишки летали по дворам, предупреждая, кого нужно, что появилась сама старуха, чтобы все сидели смирно, а остаточное

кулачество пусть прячется в колодцы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, исхищренных кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табуретки и закурили.

Федератовна как только вышла с последнего двора, как глянула своей зоркостью на изменившийся дух деревни, так у нее закипело все, что было внутри, даже съеденное кушанье.

Она пошла тогда к старому бедняку, своему другу Кузьме Евгеньевичу Иванову, который в тот час облеживался после работы.

Кузьма Евгеньевич со всей симпатией встретил старушку и открыл ей тайну умрищевского колхоза.

— Я ведь здесь как Союзкиножурнал,— сказал старик Кузьма, любивший туманные картины еще со старого времени.— Все вижу и все знаю... Тут что делается, кума, аж последняя теория замирает в груди!.. Дай-ка я тебе чайку погрею в чугуне.

Погрев чаю, бедный старик торжественно объявил, что он вчерашний день организационно покинул колхоз и стал революционным единоличником, ибо Умрищев учредил здесь кулачество.

Федератовна вцепилась здесь в бедняка-старика и, склонив его книзу за отросток волос, начала драть оборкой юбки по заднице:

— Вот тебе, революционный единоличник! Вот тебе кулачество! Вот тебе Союзкиножурнал! Все видишь, все знаешь — так не молчи — действуй, бунтуй, старый сукин сын!.. Вот тебе теория, вот тебе — в груди она замирает! Не будь, не будь, либералистом не будь! Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, шагай, не облеживайся, не единоличничай — суйся, суйся, суйся, бодрствуй, мучитель советской власти!..

Укротившись в этом бою и выпив чаю, чтоб не пропадала кипяченая вода, Федератовна пошла проверять экономику колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь — от лошади до бороны, не говоря уже про молочных или шерстяных животных. Что ж, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе?

Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила.

С этим непонятным мнением и бушующим сердцем Фе-

дератовна появилась к председателю Умрищеву. Умрищев, оказывается, жил в той самой избе, по усадьбе которой бродил вол, таская ярмо привода.

Умрищев сидел в занавешанной комнате, на столе у него горела лампа под синим абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлажденным чаем. Кроме лампы, на столе Умрищева кружился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека беспрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна расследовала действие вентилятора и нашла, что он крутится силой вола, гонимого погонщиком, который ходил вослед животному с лицом павшего духом; вол передавал свою живую мощь на привод, а от привода шли далее — через переходные оси — канаты, за канаты были привязаны веревки, а уж вентилятор вращала суровая нитка.

— Здравствуй, негодный! — сказала Федератовна.

— Здравствуй, старушка! — ответил Умрищев.— Что это тебя носит по всей территории?! Ты бы лучше жила всидячку и берегла силу в голову.

— Ты что это?.. Где у тебя тут диалектика в действии? Ты что — ты кулачество здесь рожаешь?.. Я все, батюшка, знаю и все, батюшка, видела!.. Замолчи, несчастный схематик, сейчас тебя тресну!

— Садись,— сказал Умрищев, держа одну руку близ утомившейся головы, а другую кладя на зачитанную страницу,— садись, старушка: встоячку я не говорю... Ты у меня видела отсутствие обезлички — первый этап моего руководства.

— Какое такое отсутствие обезлички? — как молодая, затрепетала вся Федератовна.— А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров наших в гроб кладут, целые гурты твои бабы обдаивают, что...

— Ты не чтокай, старушка,— возразил Умрищев,— ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту.

Старуха подвигала пустыми деснами во рту и даже вымолвить ничего не смогла от напора ненависти чувств.

— Ты погляди на мое достижение,— указывал со спокойствием духа Умрищев,— у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел — колхоз разбит на секции, в каждой секции — один двор и один земельный надел, а на дворе — одно лицо хозяина, начальника сектора.

— А чьи же это лошади у твоих хозяев?

— Ихние же,— пояснил Умрищев,— я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине: я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец.

Старуха дрогнула было от идеологической страсти, но с мудростью сдержалась.

— Старичок, старичок,— слабо сказала она,— а в чем же колхоз у тебя держится?

— Колхоз держится только во мне,— сообщил Умрищев.— Вот здесь,— Умрищев прислонил ладонь к своему лбу,— вот здесь соединяются все противоречия и превращаются силой моей мысли в ничто. Колхоз — это философское понятие, старушка, а философ здесь я.

— А все у тебя состоят в колхозе, старичок?

— Нет, бабушка,— пояснил Умрищев,— я не держусь абсолютных величин: все абсолютное превращается в свою противоположность.

— Покажи-ка мне классовую ведомость,— спросила Федератовна.

Умрищев показал графу на бумаге, что двадцать девять дворов бедных и маломощных хозяйств не состояло в колхозе — они отписались назад с приходом Умрищева, а всего в деревне было сорок четыре двора.

Федератовна вскочила с места, всем своим округленным телом собираясь вступить с Умрищевым в злобное действие, но в дверь вошел в валенках чуждый человек.

— Здравствуй, товарищ Умрищев, у меня горе к тебе есть! — сказал пришедший.

— Горе? — удивленно произнес Умрищев.— Для теоретического диалектика, товарищ Священный, горе всегда превращается в свою противоположность: горя боятся только идеалисты.

Священный, конечно, согласился, что горе для него не ужас, однако у него прокисли прошлогодние моченые яблоки в кооперативе и стали солеными, как огурцы, а морковь пролежала свою сладость и приобрела горечь.

— Это прекрасно! — радостно констатировал Умрищев.— Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки, как огурцы, а морковь, как редьку!

Священный жутко ухмыльнулся своим громадным пожилым лицом, на котором лежали следы возраста и рубцы неизвестных побоищ; он с непонятной жадностью поглядел на старушку, а затем сразу захохотал и умолк с внезапным испугом, точно ощутив какое-то свое, контрольное, предупреждающее сознание. От его смеха по комнате понесся

нечистый воздух изо рта, и понятно стало, какую мощную жрущую силу носил в себе этот человек, как ему трудно было жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеваренья и страстей.

Священный сел на скамейку в отдышке от собственной тяжести, хотя он не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущений всего постороннего. Сидячим он казался больше любого стоячего, а по размеру был почти средним. Сердце его стучало во всеуслышанье, он дышал ненасытно и смотрел на людей привлекающими сырыми глазами. Он, даже сидя, жил в целесообразной тревоге, желая, видимо, схватить что-либо из предметных вещей, воспользоваться всем ощутимым для единоличной жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое томящееся тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира.

На столе Умрищева остановился вентилятор; в дверь вошел сонный, унылый погонщик с топорнком и сказал, что вол был сытый и здоровый, но скучный последнее время и умер сейчас: наверно, от тоски своего труда для ненужного человека.

— Я теперь ухожу со двора,— сказал погонщик.— Бабушка,— обратился он к Федератовне,— ты с совхоза, возьми меня туда.

— Что с тобою такое, родимец? — спросила Федератовна.— Чего ты прежде не сигнализировал!..

— Мне, бабушка, неважно тут стало, у меня сердце испортилось от ннх и ум уморился...

— А отчего ж у тебя сердце-то нспортилось?

— От них,— сказал вентиляторный батрак.— У них такая наука, чтоб бить совхоз и твердеть зажиточному единолнчннку... Мишка Сысоев двух телок у совхоза свел, а ты и не знала,— он члену кооперации Священному их на фарш продал, в кооперации Священный постоянно фарш на машине крутит, раньше хотел сосисочную фабрику открывать, теперь войны ожидает... Мишка Сысоев и Петька Голованец в пастухах были у тебя н хотели коров увезть: они порезали их на степи, а Священный обещал им лошадь, потом подрался с нею и убил лошадь,— коров черекнули, а везти не на чем, тут ты поймала пастухов и в амбар заперла. Они там сидят, кричат — им там мочи нету, а бабы им блинцы пекут из твоего молока, а мука своя...

— Я не давал установок бить совхоз! — вскричал Умри-

щев.— Я теоретик, а не практик: я живу здесь лишь как исторически заинтересованная личность, а в последнее время перехожу на точные науки, в том числе на физику и на изучение бесконечно больших тел! Это клевета классового врага на ряды теоретических работников!

Священный по-страшному и беспрерывно хохотал, а Умрищев глубоко, но чисто теоретически возмущался.

На дворе же все время шел жаркий день, стареющий в ветхой пустынной пыли, покрытой чадом тления местной почвы, и весь колхоз находился в этой туманной неопределенности атмосферы.

— Ведь здесь же была ликвидация кулачества: кто же тут есть? — узнавала Федератовна, держа бдительный взгляд на всех присутствующих людях.— Где же тут сидит самый принципиальный стервец?

— А здесь они,— вяло показал погонщик на Умрищева и Священного,— а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с совхоза. У тебя за год сто коров семнадцать дворов съели — и мало, а ты один обман знала...

Федератовна на вид не удивилась, только подернулась гусиной кожей возбуждения.

— А чего же бедняки-колхозники глядели и молчали? — спросила она.

— А это же я и есть бедняк-колхозник,— собственным изумлением сказал погонщик, сам первый раз подумав, кто он такой.— Как же я молчу, когда я весь говорю. На тебе топорик, а то товарищ Священный сейчас убьет тебя.

Священный, чуть двинувшись, схватил погонщика вентиляторного вола поперек и начал давить его слабое тело до смерти, но погонщик стукнул его топором в темя незначительным ударом уставших рук, и оба человека упали в мебель. Умрищев, вообще не склонный к практике действий, обратил внимание Федератовны на полную неуместность происходящего факта. Тем временем лежачий Священный был далеко не мертвый и пробил ногами стену на улицу, высунувшись конечностями в деревню, но уже обратно он не мог подобрать свои ноги, потому что погонщик терпеливо дорубал голову своего врага.

Федератовна взяла погонщика за руку и увела его на двор. Погонщик напился на дворе воды, поглядел на оставшийся без Священного мир и повеселел:

— Это я работал на жаре без шапки, у меня голова ослабела, и я тебе знать ничего не давал. Как буду на совхоз работать, так куплю себе шапку.

— Нет, малый,— сказала Федератовна,— ты в совхозе не будешь работать... Ты зачем, поганец, человека убил? — что ты, вся советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься? Ты же сам — одна частичка, ты хуже электрона теперь!

Погонщик помутился на вид и опустил рано стареющую голову.

— Это, бабушка, от жары: мне голову напекло... Дай я вот шапку куплю!

Федератовна пригнула погонщика и погладила его лохматую голову.

— Нет, ты брешешь,— голова у тебя нормальная...

На околице колхоза встал вихрь кругового ветра и поднял с земли разные предметы деревенского старья. Позади вихря шла, не колеблясь, прочная туча дорожной пыли. Это двигалось добавочное стадо в «Родительские Дворики», уже многие сутки одолевая пешком полтораста верст. Позади стада ехали на волах гуртовщики и ели арбузы от жажды.

Федератовна отправила убийцу-погонщика в совхоз со стадом и велела ждать ее, а сама села в таратайку и направилась в район, в комитет партии.

В районе Федератовна не застала секретаря партии — он умер вскоре после свидания с Босталоевой, потому что у него вскрылась от истощения тела внутренняя рана гражданской войны.

Новый секретарь, товарищ Определенинов, уже знал курс дела в умрищевском колхозе и еще имел в своем распоряжении всю картину бушующих капиталистических элементов, окружающих «Родительские Дворики».

А сейчас он грустно жалел, что не управился лично объездить колхозы умрищевского влияния, когда даже старушка мчится неустанно в таратайке по степи и действует энергичной силой.

Федератовна стала обижать Определенинова упреками, что он хуже покойника и руководит районом из своего стула, что он скатится в конце концов в схематизм и утонет в теории самотека. Секретарь, хотя и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

— Бабушка,— сказал с любовью к ней Определенинов.— Умрищева мы сегодня обсудим на бюро и отдадим из партии к прокурору, а тебя мы перебрасываем из совхоза на место Умрищева. Ты согласна?

Федератовна почувствовала было тоску, но сознание

враз справилось в ней с ничтожным чувством личности, и она сказала:

— Согласуй с директором и пиши путевку, товарищ Определенное... Либо социализм, либо нет — ведь вот вопрос-то!

Отвернувшись, Федератовна, как всякая рядовая бабка из масс, вытерла в знак огорчения свои глаза краем кофты — она чувствовала свое расставание с Босталоевой.

— Ты это что? — спросил Определенное.

— Ты пиши, ты пиши наше партийное, а это мое старое бабье выходит наружу.

— Да то-то! — сказал Определенное, предначертывая какую-то повестку дня.— А я думал, ты горюешь о чем-то.

— Да-то, ништ, не горюю, да-то ништ, не скучаю! — закричала вдруг Федератовна,— иль я безгрудая, бездушная, нездешняя какая!.. Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымает меня Умрищев-злодей, уж смеркается сердце мое, схоронилися вы за дорогою...— и склонившись плачущим лицом на стол секретаря, старуха заголосила на весь районный центр.

Через час терпеливый Определенное спросил у нее:

— Ну, как, бабушка?

— Обсохла уж,— ответила Федератовна.— Давай инструкцию на ликвидацию умрищевской школки.

Определенное длительно улыбнулся и не стал учить умную и чувствительную старушку, поскольку она сама уже постигла все.

* * *

Надежда Босталоева возвратилась в «Родительские Дворики». Она приехала тихо, в вечерние часы, на подводе привокзального единоличника.

Не доезжая двух верст, Босталоева остановилась. В совхозе стояла неизвестная башня, емкая и полезная по виду, хотя и невысокая по размеру. Закат солнца освещал темный материал местного происхождения, из которого была построена башня. Кроме башни, в совхозе был еще огромной силы и величины ветряк, при этом он крутился сейчас в пустоте совершенно тихого воздуха.

Подъехав еще ближе, Босталоева убедилась, что землебитных жилых домов в совхозе уже нет, а также не было никаких других следов прежних обжитых «Родительских Двориков» — ни шелюги, ни знакомых предметов в виде

тропинок, лопухов и самородиых камией, доставлеиных сюда иеизвестиой силой,— теперь была лишь разворочеииая грузиая земля, как битва, оставлеииая погибшими бойцами.

— Что здесь такое? — с испугом спросила Босталоева.— Где же мой совхоз?

Возчик-едииоличиик объясиил ей, что совхоз должеи быть тут.

— А это просто какие-то факторы! — сказал возчик иа башию и мельиицу.— Теперь ведь миого факторов в степи, а я живу около траиспорта, я отсюда дальиий. Траиспорт, тот я зиаю: тара 414 пудов, иетто, диаметр шейки, тормоз Казаицева, закрой поддувало и сифои! Автоблокировка, три свистка дай — ручиые тормоза, два — освободи обратио, багаж прииимается при иаличии проездиого билета,— а степь я ие люблю: это место для меия как-то почти что маловероятиое, я люблю больше всего вагоиы парового отоплеиия и еще сторожевые будки. В будках хорошо живется сторожевому человеку: кругом тихо, работы мало, мимо поезда мчатся, выйди и стой себе с сигиалом, а потом осмотри свой участок и заваривай себе кашу...

Босталоева со вииманием посмотрела иа этого случайиого, преходящего для иее человека: как велика жизиь, подумала оиа, и в каких малеиьких местах оиа приютилась и иадеется...

В сиесеииом совхозе ходили четыре вола по взбугреииой почве и крутили мельиицу иаоборот, то есть ие текущий воздух вертел сиасть, а живая сила вращала сиизу крылья в воздухе. Босталоева с удивлеиием спросила у Кемаля, радостио созерцавшего такое разореиие, что это озиачает.

Кемаль, иазиачеииый к этому дию секретарем ячейки, подал Босталоевой разросшуюся от работы руку и сказал:

— Это мы притирку частей делаем, чтоб механизм обыгрался иа ходу: иовый паровоз тоже сам себя сиачала ие тяиет, пока ие обкатается...

Около мельиицы гоиял волов иижеиер Вермо, обиищавший в одежде и успевший постареть за истекшее время. Ои было обрадовался, что видит Босталоеву, ио вдруг задумался другим иагряиувшим иа иего сомиеиием:

— Надежда Михайловиа,— сказал ои,— что, если мы ликвидируем всех пастухов, а коров поручим быкам. Високовский мие говорил, что бык — это умиик, если его приучить к ответствеииости: субъективио бык будет защитии-

ком коров, а объективно — нашим пастухом! Штатное многолюдство — это отсталость, Надежда Михайловна: нам надо поменьше людей — в республике слишком много работы... Федератовна арестовала кулацких пастухов, а нам их теперь негде держать — их связал Климент веревкой от бегства и увел в районную тюрьму. Говорят, пастушьи бабы защекотали Климента в степи, а бабьи мужья разбежались. Динамо-машину мы получили, но без вас было скучно...

Инженер говорил что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску. Босталоева ничего не ответила Вермо: она настолько утомилась от своих действий в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью, что уснула вскоре в тени неизвестной башни, молчаливо обидевшись на всех.

Проснулась она вечером, покрытая от росы и ночного холода разной одеждой.

Вблизи от Босталоевой сидели шестнадцать человек, среди них были Кемаль, Вермо и Високовский, и все они ели пищу из одного котла.

— Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! — сказала Босталоева.— Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты, где Федератовна-старушка? Кемаль, ты за чем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо удивляюсь: какие вы малолетние! А я думала, вы и вправду коммунисты!

— Мы-то? — прохаркнувшись от мелкой каши с молоком, произнес Кемаль.— Мы-то не коммунисты? Ах ты, дура-девчонка! Я старый кузнец и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел инженер Вермо, открыл нам пространство науки — и я улыбнулся на твой совхоз из землянок! Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирилась здесь,— нервная ничтожность такая!.. Ты уехала, старуха твоя пропала — тоже советская наседка такая,— и мы втроем,— Кемаль показал еще на Вермо и Високовского,— мы сказали твоему старушечьему совхозу: прочь, ты не дело теперь! И не было его в одну ночь! Надо трудиться, товарищ директор, не за лишнюю сотню тонн говядины, а за десять тысяч тонн!.. Ты — девчонка еще в глазах техники!

«Отчего у нас люди так быстро развиваются? — подумала Босталоева, заново разглядывая Кемаля.— Это прямо превосходно!»

Другие рабочие, оказавшиеся на поверку бедняками, сбежавшими из умрищевского колхоза, также начали сты-

дить Босталоеву за ее недооценку башни, мельницы и дальнейших перспектив.

Високовский взял Босталоеву, как женщину, под руку и повел ее в башню. Босталоева молчала. Вермо глядел ей вслед...

Башня была сложена из сжатых, сбрикетированных ручным прессом глино-черноземных кирпичей и представляла собою вид усеченного конуса.

В сенях башни находилось особое стойло,— оно хоть и не имело еще арматуры, но это было место смертельного убийства животных высоким напряжением. Високовский и Вермо не хотели портить качества мяса предсмертным ужасом и безумной агонией живого существа от действия механического орудия. Наоборот, животное будет подвержено предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в момент наслаждения лучшей едой. Внутренность башни была выложена досками в тесную пригонку, а доски покрыты слоем клеевого лака, непроходимым для электричества.

— Вы понимаете, что это? — спросил Високовский.

— Нет, я не понимаю,— сказала Босталоева.— Ведь дожди же размоют эту земляную каланчу.

— Толщина кладки земляных брикетов здесь такая, Надежда Михайловна,— объяснил Високовский,— что нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню...

Вид животных, гонимых сквозь пространства пешком в города на съедение или даже запертых в неволю вагонов, всегда приводил Високовского в душевное и экономическое содрогание. Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительные, чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрестанно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в вагоне на тысячу верст коровы худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают, тоскуя, что им уже никогда теперь не придется случаться.

Если «Родительские Дворики» отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть, и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет истрачено в пути благодаря похудению животных. Кроме того, коровы могут вовсе умереть в дороге. Эти двести или четыреста тонн говядины должен сохранить электрический силос, построенный как башня. Коровьи туловища разрубаются на сортовые части и загружаются в башню. Затем небольшое количество высоконапряженного тока пропускается сквозь всю

массу говядины, и говядина сохраняется долгое время, даже целый год, в свежем и питательном состоянии, потому что электричество убивает в нем смертных микробов.

По мере надобности мясо накладывается в приспособленные кадушки с выкачанным воздухом и отправляется в города. В дальнейшем следует вокруг электрического силоса развить комбинат с тем, чтобы на месте обращать мясо в фарш, колбасу, студень, консервы и отправлять в города готовую еду.

У Босталоевой после разговора с Високовским сжалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо.

Високовский развил перед директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большевизме, которому уже не соответствует ее ум.

Здесь в башенные сени вошла бывшая совхозная кухарка, не знавшая, куда теперь ей деться, когда все сломали, когда из металлических ложек мужики сделали проволоку, суповые котлы раскатали в листы, когда даже ушные сережки вынули у нее и расплавили их в олово,— эта печальная бесхозная женщина, лишенная бытового состояния, сказала, что движется новое стадо из какого-то дальнего пункта: идите его встречать и организуйте поскорее баб из степи, потому что некому обдаивать скотину, а из нее уж капает молоко в землю.

Босталоева и Високовский вышли из сеней башни и увидели погонщика умрищевского вентиляторного вола; погонщик прибежал первым, чтобы осознать новое место своей жизни и сообщиться.

* * *

Устроив вновь прибывшее стадо на участок степного разнотравия, открытый недавно Високовским около одного дальнего одичавшего колодца, Босталоева возвратилась ночью в совхоз. Вермо играл на гармони, а Кемаль плясал — с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра.

Странно и опасно было видеть костер в степной темноте, веселых людей, крылья могучей мельницы, башню и слушать, как всеобщий человеческий голос, прекрасную музыку, всегда соответствующую намерению борющихся боль-

шевиков. Босталоева вошла в среду людей и стала таицевать по очереди со всеми товарищами, пока ие перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкаит, ие мог потаицевать с Босталоевой, ио зато оиа, двигаясь, обещала ему достать агрегат для буреиия иа ювенильное море, н Вермо с эиергией радостн иачал еще лучше играть иа гармоии. Один погоищик вентиляториого вола стоял в стороие, ие примкиув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело таица, отчего погощик весь заухмылялся и уж зараиее согласеи был положнть всю свою силу на совхозиом строительстве — настолько ои мало еще видел иежности в жизии. Таицуя, погоищнк обнял подругу-днректора и иаслаждался своим достоинством, иужностью и равеиством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на иего близко н улыбалась ему в лнцо своей улыбкой серьезной нскреииости, своими спокойиыми верными глазами, и погоищик чувствовал ее легкую руку иа своем плече, прнвыкшем к тяжестн н терпеиию.

Глядя на таицующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рациоиализации отдыха н счастья, а сам ие мог победить в своем сердце чувства той прозрачиой печалн, которая пронсходила от сознання, что Босталоеву может обиять целый класс пролетариата и оиа ие утомится, оиа тоже ответнт ему со страстью и преданностью.

Вскоре погоищик умрнщевского вола заржал от радости не своим голосом — женскнм басом, н таиец постепеино прекратился, поскольку долгое веселье превращается уже в скорбь.

Наступила полиочь; воздух иачал прозябать от росы и отсутствия солица, и всем людям, всей техинческой брнгаде Вермо и Кемаля, захотелось спать и согреваться.

...Наутро в совхоз приехала в таратайке Федератовна, н с ией прибыл в качестве кучера секретарь райкома Определеннов. Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управнлнсь украсть без иее весь совхоз.

— Подожди ты шуметь, убогая,— остановнл ее Определеииов, ие терпевший ннкакого визга иа земле как зиака бессилия.— Побольше спокойствия, бабушка,— нам ннчто не страшно.

Опомнившись, вндя недовольство старухи и секретаря, Вермо начал порочнть естествеииое самотечиое устройство природы н потворство этому оппортунистнческому устройству со стороны админнстрацнн совхоза, иапример, разве земляночно-землебитиая и деревянная форма совхоза ие

есть иеиависть к технике? Разве можио получить мясо от полуголодиого, иепоеиого скота, бродящего в печали по пище десятки верст ежедиевио? И мы сиесли в иочь всю совхозиую убогость, дабы освободить мебель с утварью и взять из иих гвозди, доски и прочие материалы для истииной техиики, для устроеиия продукции совхоза!

— Ои прав вполие,— с иеопределеииой грустью сказал Кемаль.

— Вы еще поиятия ие имеете о большевистской техиологии,— говорил Вермо среди летиего утра, иеумытый и постаревший от темпа своих размышлеиий,— у вас иет оргаиического ощущеиия техиики, как первого чувства своей жизии...

Федератовиа, осозиав, что кто-то хотел обидеть иауку, враз стала иа точку яростиой защиты Вермо и приветствовала речью башию и мельиицу.

Определеиииов смеялся иад старушкой и был рад, что в «Родительских Двориках» под видом чувствеииого восторга происходит иа самом деле социалистическое скотоводство, превозмогающее все существующее иа свете иа этот счет.

— Говори теперь ты, Високовский,— предложил Определеииов.

— Хотя я зоотехиик,— сказал Високовский, желая выявить чем-иибудь охватившую его радость зоотехиического творчества, хотя бы тем, что покаяться,— хотя моя дисциплиив долгое время была заражеиа иевежествеииым оппортуиизмом и вредительством и взглядом иа зоологию как иа мягкую какую-то тихую иауку, где все гармоиичио и эволюциоиио, ио я заявляю, что советская зоотехиика иемыслима без металлургии, без машииостроеиия, без электрификации, потому что только железо и огоиь добудут иам воду в сухих степях, потому что лишь тоикая пульсация электричества, приближающаяся по иежиости и остроте своего факта к жизиеииым явлеииям, к зоологии, лишь оиа, эта пульсация, игра солиечиой эиергии в атомиой глубиие материи, как определяет Николай Эдвардович Вермо, лишь оиа даст иам излишиий иарост мяса иа костях животиых, позволит иам рациоиальио забить скот, сохраиить его без потерь и отличио траиспортировать. Затем я предлагаю уиичтожить иемедлеиио текучесть рабсилы...

— Как коикретио? — спросил Определеииов, вслушиваясь с полиым сердцем в слова специалиста.

— Уиичтожить ее как текучесть, как пережиток разрыва города с деревией... Нужио ввести скользящую шкалу

профессий, чтобы пастух был обучен строительству и мог быть плотником зимой или еще чем-либо, чтобы человек обнимал своим уменьем несколько профессий и чередовал их во времена года... Каждый трудящийся может и обязан иметь хотя бы две профессии,— наш Кемаль имеет их целых четыре,— это даст десятки тысяч экономии по одним «Родительским Дворикам»... Да здравствует наша жизнь и наш напряженный труд для всех товарищей... как дальних, так и близких! — неожиданно кончил скромный Високовский и медленно покраснел, почувствовав свою заключительную патетическую бестактность.

— Да здравствуют наши социалистические специалисты! — громко сказал Определеннов, чтобы уничтожить краску ложного смущения с лица Високовского.

Но Високовский покраснел еще гуще, и все засмеялись, а Босталоева смеялась до тех пор, пока у нее не вышли слезы, блестевшие на свете солнца, как роса, на черной траве ресниц. Все люди поглядели на глаза Босталоевой, а Вермо сказал:

— Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия — из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека... Вот какая проблема, товарищи, сидит в одном взоре Босталоевой, а вы увидели ее глазами полового мещанства: так ведь никуда не годится!

— Глянь в мои глаза,— попросила Федератовна.— У меня там горит электричество иль потухло?

Вермо поглядел в старушечьи очи.

— Плохо горит,— сказал инженер,— у тебя бельма растут.

Федератовна сразу оценила было этот факт как заглушенную вылазку классового врага, но потом пошевелила деснами и передумала.

— Пусть растут,— согласилась старуха,— я и видеть не буду, так почую. А ты научный левак!

— Погоди судить, бабушка,— сказал Определеннов.— У них уже есть дела, а ты говоришь слова... Давайте, товарищи, наметим план технической реконструкции «Родительских Двориков».

Здесь же, на общей кошме, и был составлен перечень главных мер, а именно:

Название работы	Цель ее	Фамилия бригадира и срок исполнения	Полезный эффект и примечания
1	2	3	4
1. Закончить постройку электродвигателя; установить динамо; смонтировать трансмиссионную передачу; провести электрическую сеть.	Зимой: отопление скотных баз и рабочих жилищ, подача жара на кухню. Летом: давать силу на насос и на брикетный пресс.	Вермо. 2 месяца	300 тонн добавочной говядины. На 100 руб. топлива. Уничтожение жажды на центральной усадьбе.
2. Электротехнический монтаж силосной башни и убойного стойла.	Заготовка свежей говядины в долгий прок.	Високовский, консультант. Вермо. 1 месяц	Не менее 400 тонн мяса. При отсутствии ветра питать башню следует от воловьего привода ввиду малого количества тока, потребного для башни.
3. Пресс для брикетирования коровьей желудочной продукции.	Решение степной топливной проблемы	Кемаль	Экономия 2000 р., которые должны быть истрачены на покупку стороннего топлива.
4. Приобрести, перепроектировать, переделать 2 вольтовых агрегата разной мощности.	Электрическим пламенем меньшего агрегата резать камень в карьерах и сваривать их вновь на месте кладки с целью постройки цельнолитных жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды — взять оттуда количество влаги, достаточное для образования по-	Босталоева, Вермо. 3 месяца	По строительству 50 тыс. руб. По малому водоснабжению 40 тыс. руб. в год. По большому водоснабжению (на материнское море): социалистический риск.

1	2	3	4
	стоянного озера или степного моря. Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение).		
5. Изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество.	Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности.	Вермо, Кемаль, Босталоева	Установление технического большевизма в «Родительских Двориках» и на всем открытом пространстве земли.
6. Сконструировать животноводческий комбайн на автомобильном шасси.	Быстрое обдаивание отдаленных гуртов и доставка сливок на совхозную маслобойку.	Високовский, Кемаль. 2 месяца	18 тыс. руб. в год.

В седьмом, восьмом и девятом пункте плана назначались прочие виды работ. Всякое мероприятие по этому плану должно иметь помощь и консультацию со стороны Института Неизвестных Топливных Масс, КрайВЭО, Института Дешевой Энергии, Варнитсо, Общества Глубого Бурения и прочих соответствующих организаций.

* * *

Через месяц или полтора в «Родительские Дворики» прибыло оборудование и материалы, занаряженные Босталоевой в крайцентре, и то потому, что Босталоева сама нашла свои заблудившиеся на железной дороге грузы и привела вагоны на ближайшую станцию. Иначе бы грузы могли вовсе осиротеть, приобрести безвестное состояние и их сейчас же присвоили бы себе агенты многочисленных строек, населявшие в то время все узловые пункты транспорта; эти агенты-снабженцы беспрерывно глядели волчьими гла-

зами иа потоки чужих грузов и только свою стройку считали действительио решающей для судьбы социализма, поэтому оии прямо удивлялись, что кого-то еще сиабжают, кроме иих, и способствовали превращеиию блуждающих грузов в бесхозиое сиротство, чтобы переадресовать их себе, пользуясь суетой всеобщего строительства.

Около того же времеии в совхоз приехали два иижеиера из края: электрик Гофт и гидрогеолог Даев. Гофт был из Ииститута Иеизвестиых Топлив, а Даев от Вариитсо и Общества Глубокого Буреиия. Совместио с иижеиером Вермо оии довели коиструкторские идеи вольтового буреиия до чертежиого детальиого выражеиия и поправили различиые упущеиия в устройстве башии, брикетиого пресса и ветродвигателя.

Иижеиер Гофт уже ие хотел уезжать из совхоза и остался в ием до окоичаиия всех работ, а Даев и Босталоева отправились скорее в краевой город и в Лениигради, дабы иайти подходящие электросварочиые агрегаты; эти агрегаты были иужиы для иемедлеииого переустройства их иа другую службу. Одии из агрегатов должен успеть перерезать камии в карьере и сварить из этих камией жилища еще до иаступлеиия зимы.

Коитора переустройства совхоза помещалась в сеиях электросилосиой башии, где все чертили, считали, спали и бредили от иочиого воображеиия. Кемаль взял себе иа учет такой бытовой иедостаток и отправился в колхоз к Федератовие. Через четверо суток ои привез из колхоза иа волах шесть пустых изб, прииадлежавших раиее кулакам, тем, что прятались в колодцы от старухи. Эти избы лишь в слабой степеии повредились от траиспорта и вполие оказались пригодиыми для размещеиия техперсоиала и для иочлега техиических бригад.

Иижеиер Вермо развериул фроит работ сразу по всем сопротивлеииям; главиый же удар ои сосредоточил иа достройке и оборудоваиии электрической мясиой башии, где производил весь моитаж личио.

Но рабочих было всего шестиадцать человек, и люди так уморивались, что ие могли смыть водою свой пот и им ие хватало сиа для забвеиия усталости.

Одиажды иочью Вермо сидел за столом и, скучая по Босталоевой, рассматривал ее киигн. Вокруг Вермо спали люди иа полу, от иих пахло отработаииой жизиью, их рубашки заживо сотлели иа постояиио греющемся теле, и рты были печальио открыты, чтобы освежиться воздухом иочи и продуть насквозь свое туловище, зашлаковавшееся смертельиыми скоплеииями иемощи.

Кемаль лежал навзничь с омертвевшим видом лица; он сегодня в одиночку таскал бревна на верх башни, а вчера забивал якорные сваи для крепления ветродвигателя от зимних бурь.

В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, обросшие жилами тяжелой силы, и лицо его хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность надежды и насмешку над грубой тягостью жизни,— в этом Кемаль хотя и незаметно, но походил на Босталоеву.

«Зачем он таскает бревна, зачем он не повесил блока и не заставил вола втянуть бревно на канате? — думал Вермо в тишине большого пространства.— Зачем вообще нам труд как повторение однообразных процессов: нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!»

Погонщик умрищевского вентиляторного вола спал вниз лицом. Он трудился по рытью земли для различных установок. Вермо решил завтра же сделать несколько конных лопат и рыть грунт силой волов или даже приспособить под это дело ветер.

Вермо не знал, есть ли у Кемаля и погонщика вентиляторного вола другая жизнь, эстетические вкусы и накопления на сберкнижке. Они были, наверно, безродными и превращали будущее в свою родину.

В вещах Босталоевой Вермо нашел «Вопросы ленинизма» и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении нижеиер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха, и уцелевшие товарищи добудут из глубины земли материнское море и свет солнца превратят в электричество.

Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу, и солнце показывалось в ответ. Но Вермо не вдумывался в это явление, вдумываясь обычно во все, что попадалось; он слишком начитался за ночь и чувствовал себя сейчас недостаточно

умным. Он отошел дальше в степь и лег в нее вниз лицом с настроением своей незначительности.

Откуда-то из участка к Вермо подошел Високовский. Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам, он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? Быки дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей.

Вермо, не слушая, глядел на Високовского.

Затем он возвратился в избу, где по-прежнему спали рабочие, но лица их, освещенные зарею, приняли торжественное выражение. Вермо понял, насколько мог, столпов революции: их мысль — это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела.

Эта идея неслышно растворена в книгах, прочитанных Вермо ночью, потому что ее нельзя услышать мелким сердцем индивидуалиста или буржуа.

В тот же день Вермо составил бригаду в семь человек и сам стал в ее ряды. Он хотел осуществить ставку на творчество пролетарского человека, с тем чтобы изобретение стало способом работы, чтобы не Кемаль таскал бревна, а ветер или вол и чтобы работа шла на смысле, а не на грустном терпении тяжести, как работает мещанин капитализма.

К концу первой десятидневки в бригаде почти не применялся черный труд — его сменили деревянно-веревочные и железные приспособления, движимые живртной силой волов.

* * *

Через два месяца, уже осенью, прибыли из Ленинграда переделанные электросварочные агрегаты и другое необходимое оборудование. Одновременно с многочисленными машинами приехали Босталоева и инженер Даев.

Босталоева ехала от железной дороги через колхоз и

привезла с собой смирившегося Умрищева, которого выслала Федератовна в совхоз для проверки в рабочем котле.

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей совместной дороги в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья.

Босталоева была несколько дней в Москве, в Скотоводобъединении, и привезла оттуда новость для всех рабочих: в «Родительских Двориках» организуется образцовый опытно-учебный мясокомбинат. Этот вопрос был поднят крайкомом партии и теперь всюду согласован и обдуман.

Спустя еще некоторое время в «Родительские Дворики» съехалось большое число людей из Москвы и краевого центра: они должны были участвовать в организации учебного мясокомбината и быть свидетелями первого в мире бурения земли вольтовой дугой, чтобы прожечь грунт до воды.

Инженер Вермо, как только получил вольтовый агрегат, уехал с ним в степь неизвестной дорогой, взяв с собой одного Кемаля.

Возвратившись через четверо суток, Вермо установил агрегат среди новостроящейся усадьбы совхоза, запустил мотор и направил фронт сияющего, шарообразного пламени вертикально в недра земли.

Делегация Москвы и края уселась к тому времени на скамьи вокруг воющего агрегата; столб едкого газа поднялся над плавящейся породой, обращающейся в магму, затем — через полчаса — раздался взрыв и наружу вырвался вихрь пара: это пламя вошло в массу воды и пережгло ее в пар. Вермо выключил агрегат.

Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину; она была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности, внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной, застывшей теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Затем Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали их вновь в монолиты, слагая сплошную стену, чтобы было ясно, как нужно строить теперь жилища людям и приют скоту.

* * *

В глубокую осень из Лениинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля иаходились инжеиер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели комаидировку в Америку, сроком иа полтора года, чтобы проверить там в опытиом масштабе идею сверхглубокого буреиия вольтовым пламеием и научиться добывать электричество из простраиства, освещеииого небом.

На берегу их провожали две фигуры иебольших людей: Федератовиа и Умрищев. Старушка приехала издалека, чтобы проводить Босталоеву и поплакать по ней иа вечное прощаиье, потому что оиа уже ие надеялась прожить полтора года: слишком активно билось ее сердце всю жизиь, и оио устало.

Федератовиа была одета в шляпу, которая сидела иа ее голове, как чертополох; малеиький смириый Умрищев держал под руку старую жеищину и вытирал глаза белым платочком от сочувствия. Ои еще в колхозе полюбил Федератовиу за оживленность, за открытую страстность сердца, за беспощадиость ее идейиого духа, и старушка, будучи положительной жеищииой, увлеклась постепенно терпеливым отрицательиым старичком, так что оии пожеиились в течеиие времеии.

Корабль уплыл в водяиые простраиства земли. Вермо и Босталоева отошли от борта. Старичок и старушка остались на далеком берегу и долго плакали, глядя иа горизонт, а потом приступили к взаимному утешению друг друга.

Вечером того же дня, ложась спать в гостииице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.

— Мавруша, а Мавруш! — обратился ои после томлеиия к Федератовие.

— Чего тебе, старичок? — охотио спросила Федератовиа.

— А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна иачиут из диевиого света делать свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли иа земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темиые, они же чугуииые, Мавруш!..

Здесь лежачая Федератовиа обериулась к Умрищеву и обругала его за оппортуиизм.

джан[1]

1

Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней — он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.

По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто,— неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.

За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для

[1] Джан — душа, которая ищет счастье (туркменское народное поверье) *(Примеч автора.)*

второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул — с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.

Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.

В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.

Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.

Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом,— может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.

— Гюльчатай! — сказал он вслух.

— Что такое? — спросила его соседка, технолог.

— Ничего не значит,— объяснил Чагатаев.— Гюльчатай — моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее...

Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал — уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.

Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть, вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.

Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье

надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты — экономисты, плановики и инженеры — брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла — она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.

Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного][1]. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то — время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам — он не скоро с ними увидится.

Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но

[1] Здесь и далее в квадратных скобках отмечены места, где правка автором не завершена. *(Ред.)*

женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.

Свидание и веселье продолжались до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу — ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.

Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле — свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы — все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.

— Я уморилась, мы ведь не спали,— сказала Вера,— давайте прощаться.

— Ничего,— ответил Чагатаев.— Я скоро уезжаю, давайте немного побудем.

Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.

— Здесь я живу,— указала Вера на новое большое жилище.

— Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.

Вера стояла в смущении.

— Ну, хорошо,— сказала она и повела гостя.

У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.

Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо — близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет — по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз,— голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.

Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало немило и неинтересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаева и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.

— Я ведь беременная,— сказала Вера.

— Пусть! — ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.

— Нет! — печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне.— Нет. Я ничего не могу.

Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно

утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет — от горя или оскорбления.

— У меня недавно умер мой муж,— сказала Вера.— А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет... Ведь правда, мало?

— Мало,— согласился Чагатаев.— Теперь я буду его отцом.

Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте — все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.

Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей, чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.

С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.

Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство — с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кро-

вати, по внду беспомощиая, но улыбающаяся и иепобедимая.

Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, ои зиал ее невиииость н доброту, поэтому его оскорбляла чужая иедоступность, н он терял память н соображеиие. Еще в детстве он также топал босымн ногамн в землю, обливался слезами от безутешиого иеистовства и грозился прохожим, когда вндел еду за толстым стеклом н не мог ее немедленио съесть.

2

Лето продолжалось. От жары тлели торфяиые болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешаниая с теплым парующнм духом удаленных колхозов и полей, точио всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последине днн: ои получнл иазначение на работу, ему иужио было уезжать на родину, в середииу азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком пятиадцать лет тому иазад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, иадела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испечеииую из растертых корней камыша, катрана н ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растенне рядом, н велела ндтн.

— Ступай, Назар,— сказала она, ие желая видеть его мертвым рядом с собой.— Еслн узнаешь отца своего, ты к иему не подходи. Увидишь базары н богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хнве — ты туда ие нди, ступай мнмо всех, идн далеко к чужим. Пусть отец твой будет иезнакомым человеком.

Маленькнй Назар не хотел уходить от матерн. Он ей говорнл, что прнвык умнрать н больше не боится, что ои мало будет есть. Но мать прогоняла его.

— Нет,— говорнла она.— Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живн теперь один. Я забуду тебя.

Назар заплакал около матерн. Ои обнял одну ее худую холодиую ногу и долго стоял, впнвшись в ослабевшее прнвычиое тело; небольшое сердце его стало тогда больиым, оно сразу вдруг утомилось и бнлось тяжело, как иамокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матерн:

— Я тоже тебя забуду, я тоже тебя ие люблю. Вы маленького человека кормнть не можете, а когда умрете, то инкого у вас не будет.

Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер — без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной. Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.

Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его... Шершавый куст — бродяга, по-русски — перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого — ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно,— ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.

Назар пошел за кустом перекати-поле и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукою, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелится сейчас

на верху ближиего песчаного холма, и мальчнк догнал его.

Родниа н мать давио скрылись — пусть их забудет его сердце, пока оио растет. В тот день бредущнй куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух иапоил мальчика и накормнл, а куст его привязал к палке, чтобы ои тоже отдохиул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жнл у него, пока ие выпал сиег, тогда хозяии отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепиуть, и пастух отправнлся с мальчиком, а в городе отдал его советской власти, как ие иужиого иикому. Советская власть всегда собирает всех иеиужиых и забытых, подобно многодетной вдовнце, которой ничего не сделает один лишинй рот.

Теперь прошли миогие годы, но ничто ие было забыто, и потерявиая мать была такой же любимой, и для воспоминання о ией всегда будет одинокая сила в сердце, точио детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев иикогда не знал. Русский солдат Хивиискнх экспедициоиных войск Иваи Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой жеиой Кочмата, от которого она уже имела двоих малеиьких детей; ио дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младеичестве, о иих только говорила ему мать впоследствии, что онн жилн когда-то. Кочмат же был бедеи и гораздо старше своей жеиы; ои жил тем, что ходил иа байские земли в Куня-Ургеич н в Ташауз — работать иа хошарах, чтобы хоть в летиее время питать семейство хлебом. А в зимиее время ои почти беспрерывио спал в земляике, вырытой у подиожья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с иим под одиою кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меиьше есть, а между ними лежали их дети, когда оии были живы. Изредка Гюльчатай выходнла, добывала траву на пищу или шла иаииматься батрачкой в Хиву... Одиажды в Хиве она ие нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранииу, а бедиые ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась иа базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивнвском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев н стал прииосить ей каждый деиь казеииую пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядииой иа вечернем пустом базаре, а солдат поиемногу касался ее и затем обиимал. Но жеищиие совестио было в ответ иа угощеиие отвергать человека: оиа молчала и ие сопротивлялась. Оиа думала, чем отблагодарить русского, н не было у нее ннчего, кроме того, что выросло от природы.

— Отчего у тебя слезы на глазах? — спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.

— Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.

— Но как же?

Чагатаев затруднился.

— Не помню... Она мне радовалась и оплакивала меня,— теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.

Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар — сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.

Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.

На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.

Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:

— Что Ксеня — дома или еще где-нибудь?

— Дома, дома, она только что пришла,— сказала хозяйка.

В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.

— Мама! — И девочка обрадовалась пришедшей матери.

— Здравствуй, Ксеня! — сказала Вера.— Это моя дочь,— познакомила она девочку с Чагатаевым.

Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.

Ксеня улыбнулась. Она не походила на мать — у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет — один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство.

Лишь рот портил Ксеню — он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.

Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.

— Вы здесь живете? — спросил пустяковое дело Чагатаев.

— Да, у матери моего папы,— сказала Ксеня.

— А где папа, он умер?

Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву. Ксеня засмеялась.

— Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!

— Большие мосты? — спросил Чагатаев.

— Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! — радостно сказала Ксеня.— У меня фотографии из газеты есть!

— Папа вас любит?

— Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.

Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление — он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.

Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.

— Тебе не пора собираться на вокзал? — спросила она.

— Нет, я не поеду сегодня,— сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут принять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.

Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксении, если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.

Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее нет.

— У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась,— сказала Вера.— Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно... Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..

— Ну, мама, пускай, ничего! — говорила Ксеня.— Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.

— Все-таки напрасно,— сетовала Вера.— И ему самому нужны деньги, он едет далеко.

— Мне хватит,— сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на промокашке Ксени.

Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:

— Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!

Чагатаев поцеловал ее и попрощался.

— Назар, ты больше не любишь меня? — спросила Вера на улице.— Пойдем разведемся, пока ты не уехал... Ты видел — Ксеня моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.

Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:

— Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?

— Я любила. Второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна... И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову...

— Но почему я тебя не люблю?

— Ты любишь Ксеню, я знаю... Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.

Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.

— Поэтому ты со мной и не жила? — спросил Чагатаев.

— Да, поэтому. Ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал — я моложе и чище...

— Ну и что ж! Мне это безразлично...

— Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксению? Я заметила.

— Влюбился,— ответил Чагатаев,— я не вытерпел.

Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.

Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.

Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.

— Ну, как же мне быть теперь? — спросила Вера, произнося эти слова для себя.

Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безутешно и слову не поддается.

Вера начала отходить от горя.

— Ксения тебя тоже полюбит... Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар,— годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.

— Зачем привыкать к худому? — сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.

Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.

— Ничего,— сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья.— Рожай его скорее, он будет рад.

— А может, нет,— сомневалась Вера.— Может, он будет вечный страдалец.

— Мы больше не допустим несчастья,— ответил Чагатаев.

— Кто такие вы?

— Мы,— тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.

— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.

3

Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство,— поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.

Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца

в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.

В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был — равнодушный и спящий.

Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь — кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом — что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.

Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, со-

чувствовал всей бедиой жизии, ие сдающей своей последией радости.

Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, ио ие поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его ие получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Ои уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.

Через семь дией Чагатаев дошел до Ташкеита ближней пешей дорогой. Ои явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разиых иациоиальиостей. В ием есть туркмены, каракалпаки, иемиого узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто оии. Раньше этот иарод почти постояино жил во впадине Сары-Камыша, откуда ои ходил работать на хошары и на чигири в Хивииский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куия-Ургеич и другие дальние места. Бедиость и отчаяиие того народа были настолько велики, что ои о земляной хошариой работе, которая продолжалась лишь иесколько иедель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дии есть хлебиые лепешки и даже рис. На чигирях тот иарод работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий иарод из Сары-Камыша ел лишь иемиого времеии, а потом уходил вои. И целиком ие умирал и на другой год сиова возвращался, протомившись где-то на дие пустыии.

— Я зиаю этот народ, я там родился,— сказал Чагатаев.

— Поэтому тебя и посылают туда,— объясиил секретарь.— Как иазывался этот иарод, ты ие помиишь?

— Он не назывался,— ответил Чагатаев.— Но сам себе он дал маленькое имя.

— Какое его имя?

— Джан. Это озиачает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали жеищииы-матери, потому что оии его родили.

Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.

— Значит, все его имущество — одно сердце в груди, и то когда оно бьется...

— Одио сердце,— согласился Чагатаев,— одна только жизнь; за краем тела ничего ему не приiадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.

— Тебе мать говорила, что такое джан?

— Говорнла. Беглецы н сироты отовсюду н старые, изнемогшие рабы, которых прогиали. Потом былн женщины, изменнвшие мужьям н попавшие туда от страха, прнходнли навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они ие захотелн ннкого другого в мужья. И еще там жнлн людн, ие зиающие бога, иасмешиикн над мнром, преступиики... Но я не помию всех — я был маленькнй.

— Езжай туда теперь. Найдн этот потеряниый народ — Сары-Камышская впадииа пуста.

— Я поеду,— согласился Чагатаев.— Что мне там делать? Социалнзм?

— Чего же больше? — пронзиес секретарь.— В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей иашей силой... Ты будешь нашим уполиомочеииым. Туда послалн кого-то нз райоиа, но едва ли ои что сделает там: кажется, ие иаш человек...

Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные ииструкции, комаидировочиую бумагу, н Чагатаев попрощался.

Он задумал плыть иа родину вииз по Амударье, сев около Чарджуя в каюк.

На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Оиа пнсала, что ребеиок ее приближается на свет, он уже думает что-то виутри ее тела, потому что часто шевелнтся н бывает недоволен.

«Но я ласкаю его, я глажу свой жнвот н, согнувшнсь лицом ближе к иему,— писала Вера,— говорю: «Чего ты хочешь? Тебе там тепло н тихо, я стараюсь мало двнгаться, чтобы ты не раздражался,— зачем ты хочешь уйти из меня?..» Я привыкла к иему, все время живу с иим как с другом, как хотела жить с тобой, н рожденя его я боюсь — ие потому, что мие будет больно, а потому, что это будет иачало разлуки с иим навек, и его ножки, которымн он сейчас стучит, спешат уйтн от матерн, н онн будут уходить все дальше и дальше — по мере его жизин, пока мой сыи не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз... Ксеня тебя помиит, но скучает, что ты далеко, ие скоро приедешь, даже иичего ие известио. Не умер лн ты уже где-то?»

Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксеию — в ее разноцветные глаза, н пройдет недолго, как ои приедет, когда ои сделает счастье средн одиой земли.

4

Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса. Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.

Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, проникающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксению, маленькую женщину с цветными глазами, думающую что-нибудь сейчас про него.

Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.

Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту дорогу по слабевшим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые — все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.

Дойдя до сухой реки Куньядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра,— приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда

верблюд сжевал ее губами н проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следнл за этой большой живой травой глазами, добрыми от иадежды, но перекатн-поле уходило стороиою; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как иужио плакать.

Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давио стало худым от голодиой иужды и болезнн, шерсть его выпала почти вся, остались лишь иекоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от иепривычки и озноба. Ои, иаверио, был разгружеи и оставлеи здесь каким-либо прохожим каравaиом вследствие слабости своих сил — либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожндать его, пока не истратило в себе жизиеииого запаса. Потеряв способность движения, верблюд уперся остатком силы в передиих ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, иагоняемые иа иего ветром, и поедать их. Когда ветра ие было, он закрывал глаза, не желая тратить иапрасио зрения, и был в дремоте; опуститься н лечь ои не хотел, тогда бы ои снова приподняться уже ие смог, и так оставался сидячим постояиио — то бдительным, то дремлющнм, пока смерть не склоиила бы его вниз илн пока любой иичтожиый зверь пустыин ие коичил бы его одним ударом малеиькой лапы.

Чагатаев долго сидел около этого верблюда, иаблюдая и поиимая его. Затем ои прииес издали иесколько охапок перекати-поля и дал верблюду нх съесть. Напоить ои его не мог, у иего самого было только две фляги воды, но он зиал, что дальше по руслу Куиядарьн есть пресиые озера и мелкие колодцы. Одиако трудио иести иа себе верблюда по песку.

Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доставая ему траву из ближиих окрестностей, пока тот ие положил своей головы иа землю; он усиул кротким сиом иовой жизии. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловнщу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Ои улыбался; все было страниo для него в этом существующем мнре, сделаином как будто для краткой насмешливой нгры. Но эта нарочиая игра затянулась иадолго, иа вечность, и смеяться никто уже ие хочет, ие может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава — ведь это все должно быть серьезиым, великим и торжествующим; виутрн бедных существ есть чувство нх другого, счастливого иазиачеиия, иеобходимого и иепремеииого,— зачем же оии так тяготятся и ждут чего-то? Чагатаев свериулся калачом около жнвота верблюда н усиул, удивляясь необыкиовеииой действительиости.

5

Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собой ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти на себе человека.

Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко, Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки,— лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.

Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребенком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько привлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или беспамятство их поверить было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.

Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд самостоятельно ходил за ним следом, боясь остаться один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучаясь от неумения.

Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась рас-

статься с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!»

Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, костлявую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.

— Мы тебя одну не оставим! — сказал Чагатаев черепахе.

Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.

Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.

Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русского солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.

Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.

К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.

— Я тебя знаю,— сказал он Чагатаеву.— Ты был мальчик Назар.

— А я тебя не знаю,— ответил Чагатаев.

— Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне все задерживается.

Старик сморщился, вспоминая улыбку привета, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботится, но теперь наступила пора...

Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради

своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?

Старик молчал.

— Ты встретил где-нибудь своего отца? — спросил он.

— Нет. А ты знаешь Ленина?

— Не знаю,— ответил Суфьян.— Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но думаю — нет. Если хорошо — пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.

— Я вот пришел к тебе,— сказал Чагатаев.

Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.

— Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.

Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.

— Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли...

Они вошли в землянку, где жил на камышовой подстилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из корней трав плоскогорья. В отверстие входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копет-Дага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин — Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в направление, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поесть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томились, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимали их на ноги... И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого, тучного человека, истребляя и наслаждаясь... Может быть,

одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.

Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.

На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.

На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то: «Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать» — и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по нескольку человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и безвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, имели страх и содрогание. Сперва народ джан боялся Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в беспрерывной слабости. Затем стали бояться все люди,— они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине барханa, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать

своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежачими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сары-камышский народ увидел хивинскую башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.

Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:

— Чего им надо и отчего они чувствуют радость?

Ему ответил кто-то, может быть, Суфьян или прочий старик:

— Ты долго прнучал иас помирать, теперь мы прнвыкли и пришли сразу все,— давай иам смерть скорее, пока мы не отучились от иее, пока иарод веселится!

Помощник хана ушел иазад н больше ие вериулся. Кониые и пешие солдаты остались около дворца, не касаясь народа: оии могли убивать лишь тех, для кого смерть страшиа, а раз целый иарод идет иа смерть весело мимо них, то хаи н его главиые солдаты ие знали, что им иадо понимать и делать. Оии ие сделали иичего, а все люди, явившиеся из впадниы, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала иаружи около иих, и вечериее солнце, блестевшее иа иебе, освещало зелеиый лук, дынн, арбузы, вниоград в корзинах, желтое хлебиое зерио, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.

Назар спрашивал тогда мать:

— А когда же будет смерть? Я хочу!

Но мать сама ие зиала, что будет сейчас, оиа видела, что все еще живы, н боялась опять возвращаться в Сары-Камыш н снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разиые плоды и иаедаться без деиег, а купцы стояли молча и не били этих хищиых людей. Назар ел медлеиио, он глядел кругом, ожидая убнйства, и успел съесть только одну дыию. Наевшись, иарод стал скучным, потому что веселье его прошло н смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыию, все люди также ушлн прочь, в старое место своей жизии.

Назар с матерью вериулись иазад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяиом, оии тогда отдыхали, и мать сказала сыиу:

— Давай опять жить, мы не умерли!

— Мы с тобою целы,— согласился Назар.— Знаешь что, мама, мы будем жить — инчего ие думать, иарочно нас иет.

— Хорошо тем, кто умер виутри своей матерн,— сказала Гюльчатай.

— У тебя в животе? — спроснл Назар.— А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, н меня сейчас не было, а ты ела н жнла и думала про меня: иарочио я живой.

Гюльчатай посмотрела тогда на сыиа: счастье н жалость прошли по ее лнцу.

Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныие без нзмеиеиия, потому что оиа умерла еще до рождеиня Назара, ио все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми кориями. Суфьяи понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волненне жнзнн, но не

интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.

Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтоб она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.

Затем они пошли далее — в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.

6

Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комарному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.

Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них

не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни прочего счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене,— самое беспомощное, бедное и вечное чувство.

Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.

— Есть у вас новости? — спросил Суфьян, прощаясь.

— Нет, жизнь идет одинаково,— ответил Черкезов.— Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.

— Отчего утонула твоя достойная Гюн?

— Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.

— Я беден,— сказал Суфьян,— ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.

— Все равно,— согласился Молла Черкезов.— Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.

— Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.

— Четыре человека приезжали раньше Назара,— сообщил Черкезов.— Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело — тьма, мне хорошо не будет.

— Тебе хорошо даже от ослицы и от старухи,— сказал здесь Чагатаев.— Твое счастье похоже на горе.

— С женой время идет незаметно,— ответил Молла Черкезов.

Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша, около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках,— для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью,— вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти

без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.

— Отпусти со мною твою дочь! — попроснл Чагатаев у хозяина.

— Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? — сказал Молла Черкезов.

— Я приведу тебе старую, другую.

— Приводи скорее,— согласился Черкезов.

Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими глазами, пугаясь и не понимая.

— Пойдем со мною,— сказал ей Чагатаев.

Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшнсь ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.

— Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет? — обратился Чагатаев к старику.

— Одинаково,— ответил Суфьян.

Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.

Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.

Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..

Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.

Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.

Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.

7

Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядывалась вокруг и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной. Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей нечего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.

— Проснись скорее! — сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.

Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.

— Не иадо: ведь ты моя мать,— сказал Чагатаев.

Он встал на иоги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что ие могла теперь видеть его лица, оиа тянула его за руки вииз, к себе, и Чагатаев согиулся и сел перед ией. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но ие могла иичего сказать ему. Оиа только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и ие верила в иего, боясь, что оио пройдет.

Чагатаев смотрел в глаза матери, оии теперь стали бледиые, отвыкшие от иего, прежняя блестящая темная сила ие светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищиым и злобиым от постояииой печали или от напряжеиия удержать себя живой, когда жить ие иужио и иечем, когда про самое сердце свое иадо помиить, чтоб оио билось, и заставлять его работать. Ииаче можио ежемииутио умереть, позабыв или ие заметив, что живешь, что иеобходимо стараться чего-то хотеть и ие упускать из виду самое себя.

Назар обиял мать. Оиа была сейчас легкой, воздушиой, как маленькая девочка,— ей нужио начииать жить с начала, подобио ребенку, потому что все силы у иее взяло терпение борьбы с постоянным мучеиьем, и оиа ие имела иикогда свободиого от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существоваиия; она ие успела еще понять себя и освоиться, как иаступила пора быть старухой и коичаться.

— Где ты живешь? — спросил ее Назар.

— Там,— показала Гюльчатай рукой.

Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре оии дошли до иебольшой деревни, расположениой иа поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и иесколько кибиток, связаиных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или иемиого больше. Ни собаки, ни осла, ии верблюда Чагатаев ие заметил в этом поселеиии, даже домашияя птица не ходила иа воле по траве.

Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на ием висела складками, как изиошеииая, усталая одежда; он перебирал на своих колеиях тростиики камыша, собирая из иих себе вещь для домашией утвари или украшеиие. Этот человек ие удивился появлеиию Чагатаева и ие ответил даже иа его поклон; ои бормотал что-то про себя, воображая никому ие видимое, занимая свою душу собственным, тайиым утешеиием.

— Здесь живет весь наш народ или еще есть? — спросил Чагатаев у матери.

— Я уже забыла, Назар, я ие знаю,— сказала Гюльча-

тай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову, как трудный груз.— Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря — раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит...

Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начинался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все,— мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лессовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышным ветром,— мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадежной силой.

Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать. Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж — море или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.

Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища — одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы вытирать пот и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.

Мать Назара жила здесь бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся: она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.

Чагатаев сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть коренья травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов,— вообще, поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких рыбок; она теперь уже не ин-

тересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.

Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.

Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сновидении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения,— они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залатанной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки,— мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары — она притерпелась.

Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие,— нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!» — вслух сказал он и улыбнулся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.

Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно

следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, ио оиа смотрела без жадиости и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула иа облежаниой камышовой подстилке, и в то время уже иаступил общий вечер и иочь.

8

Первый деиь жизии Чагатаева иа родине прошел; сиачала светило солнце, на что-то можно было надеяться, теперь иебо померкло и уже появилась вдалеке одиа иеясиая, ничтожиая звезда.

Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой страие умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из иее постель в материиском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтоб оиа тоже спала.

Ои вышел затем одии, дошел до какого-то пустого, еле влекущегося протока Амударьи и вновь возвратился. Мощиая иочь уже стояла иад этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растеиий, как дети во сие. Человечество думает, что в пустыне ничего иет, одно иеиитересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у иог его лежит грязная впадииа Сары-Камыша, в котором совершалось иекогда человеческое бедствие,— но и оио прошло, и мучеиики исчезли. А на самом деле и здесь, иа Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый трудиый мир, заиятый своей судьбой.

Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи, насмешливо и быстро, но оставался без ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышио было, как виутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.

— Подбирай шерсть иа земле, клади мие за пазуху,— говорил голос спящего старика.— Собирай скорее, пока верблюды линяют...

Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, ие слышио что. Ему сиилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.

— Дурды, Дурды! — стал звать голос женщииы; она шевелилась, и циновка под ией шелестела.— Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я ие догоию тебя... Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.

Они умолкли и спали теперь мирно.

— Дурды! — тихо позвал Чагатаев снаружи.

— А? — отозвался изнутри голос бормотавшего старика.

— Ты спишь? — спросил Чагатаев.

— Сплю,— ответил Дурды.

Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени иомудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужу и несла за плечами все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.

Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами — у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело — там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния.

В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно посмеивался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над сво-

ей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятны оттого, что в них были одни звуки — они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.

— Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и мне принеси, а я в грудь положу,— сказал этот человек, а потом снова засмеялся.

Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек — все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его,— он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.

Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бросилась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.

Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок — может, он сейчас зачнется.

Но жена отвечала:

— Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая...

Муж молчал, потом говорил:

— Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.

— Что же,— отвечала женщина,— мне одеться не во что, тебе тоже; как зимою будем жить!

— Когда будем спать, то согреемся,— отвечал муж,— от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..

— Больше нечего,— соглашалась женщина,— нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя.

— Я тоже тебя,— говорил муж,— иначе не проживешь...

— Дешевле жены ничего нету,— ответила женщина.— При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?

— Добра не хватает,— согласился муж,— спасибо хоть жена рожается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет...

Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее — не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.

— Мы с тобой плохое добро,— проговорила женщина,— ты худой, слабосильный, а у меня груди засыхают, кости внутри болят...

— Я буду любить твои остатки,— сказал муж.

И они умолкли вовсе,— наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.

Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.

9

Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, воображала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без тру-

да же думать она не умела; хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.

Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них, житейская занятость,— тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк), блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.

— Ты знаешь Моллу Черкезова? — спросил ее Назар.

— Я всех знаю,— сказала мать.

— Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.

Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувства, а от привычки, если жизнь для нее почти незаметна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын,— и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.

Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Однажды она ходила далеко через протоки и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить,— пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и поил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.

По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе

джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет — три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рожались, то они получали в наследство то же, что имели их родители,— корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.

Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.

Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюбетейку на голове, был обут в войлочные туфли — единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.

— Что ты сделал здесь за полгода? — спросил его Чагатаев.

— Ничего,— сообщил Нур-Мухаммед.— Я не могу воскрешать мертвых.

— Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?

— Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим,— их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу — командировка выполнена...

— Народ сам похоронит своих близких — ты для этого не нужен.

— Нет, он не будет хоронить, я знаю.

— Почему не будет?

— Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты

им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмучились.

— Что же нам делать с тобой? — спросил Чагатаев.

— Ничего не надо,— сказал Нур-Мухаммед.— Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали — можно. Долго — он погибает, его надо — понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить...

— Я им могилы рыть не буду,— сказал Чагатаев.— Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.

Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.

— Мое дело в моей голове, а твое дело — в твоей. Скоро я понесу эту девочку в землю. До свидания.

Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от времени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтораста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободравшись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мякоть мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скопляло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промоину. Там было еще более душно от затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной

звезды, и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов» — имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно, штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!» — и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с басмачами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непрожитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал травы с землей на скелет Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.

В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту — спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов — в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.

Чагатаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело. Девочку сложили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксеня».

Туркмеиская девушка выгляиула из окиа «До востребоваиия» и сказала:

— Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дией.

И оиа дала Чагатаеву ташкеитскую телеграмму: «Письмо смерти жеиы прочтеио ввиду трудиости сообщеиия с вами. Извиияемся. Разрешается выехать на месяц в Москву потом вериуться привет Орготдел Исфеидиаров. При недоставлеиии течеиие двадцати дией возвратить Ташкеит отправителю».

Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозиой аптекой и ушел из почтовой коиторы. Чимгай был иичтожен — слепые дувалы и глиияиые жилища иаходились почти иезаметио среди окружающего свободиого простраиства пустого мира. Чагатаев купил в чайхаие ячмеииых лепешек и через пять мииут был уже вие города, иа ветру своей дороги; солице горело высоко и обильио, и все же его свет ие мог согреть человеческое сердце до состояиия счастья. Чагатаев перестал думать; ои всматривался в разиые подорожиые предметы — в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски перевареииой пищи осла, в русский ветхий лапоть, иеизвестио с какого дальиего страиииика; остатки и следы чужой жизии или деятельиости отвлекали Чагатаева от собствеииой мысли. Накоиец ои увидел иебольшую черепаху: она лежала с высуиутой опухшей шеей, с беспомощио выпущеииыми лапками, ие храия себя более под паицирем,— оиа умерла здесь, при дороге. Чагатаев подиял ее и рассмотрел. Затем отиес в стороиу и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойиой жеие Вере, чем ои сам, и Чагатаев остаиовился в иедоумении. Ои сел иа землю с ослабевшим созиаиием, не поиимая, что он живет и действует с известиой целью; чужды и скучиы были перед иим обычиые явлеиия природы; больше ие нужио ему было иикакое зрелище и иаслаждение, и он с отвращеиием бросил ячмеииые лепешки, нагревшиеся в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведеи матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом иезиакомом месте, кто его услышит и явится к иему — как будто за каждым человеком ходит его иеустаииый помощиик и только ждет, когда иаступит последнее отчаяиие, чтобы показаться... Вдали, в тишиие, словио за мертвым заиавесом, в близком, но другом мире, что-то постояиио гукало. Звук ие имел значеиия и определеииости. Чагатаев вслушался; ои вспомиил, что эти звуки были ему зиакомы и раиьше, ио ои иикогда не поиимал их и пропускал мимо виимаиия. Звуки повторялись опять, оии шли ред-

ко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты,— будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе — внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце...

Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.

На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.

Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящей мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль от света луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лессовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана. Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, обдутый ветрами курган, под которым лежал в своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.

Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток — в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно,— может быть, они свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наесться мясом овец.

Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар-Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой — всего человек четырнадцать, может быть — восемнадцать. Остальной народ, наверно, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.

Гюльчатай несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за конец стебля связку съедобных трав; Назар-Шакир держал на голове большой сверток из одеял; Молла Черкезов левой рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе,— у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.

Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?

Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:

— Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно — живут они или нет.

Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и посмотрел в сторону: даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди...

Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя

и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь вблизи и ветер покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты,— он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.

— А где остальные — они спят? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.

Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.

— Пусть! — сказал ему Мухаммед.— Потом очнутся и догонят.

Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.

— Куда ты их ведешь? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— В Сары-Камыш, на родину,— ответил Нур,— где они раньше жили.

— Зачем?

— Пусть движутся куда-нибудь... Я их веду дальней дорогой — кру́гом разливов. Кто ходит — тому всегда легче.

— А больные? — спросил Чагатаев.

— Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоровеют — мы оставили болота, и лихорадки не будет.

Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той причине они и болезнь и страданье переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было

ие их делом. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы поглядеть на свою мать. Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согревать в нем свою голову во сне.

Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.

10

К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед за Нур-Мухаммедом. Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб,— жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали ѐсть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной

свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одио из этих кочевых колец пролегало иевдалеке, почти иа пересечеиии той дороги, по которой иарод джан шел теперь в Сары-Камыш.

Суфьяи и Чагатаев дошли до малой влажной впадииы в песке и остановились. Суфьяи разрыл руками песок в глубиие, ои там был мокрый; старик сказал, что овцы разгребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду,— здесь и иадо ожидать овец; ои зиал время, в которое оии обходят весь свой круговой путь, и высчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год ои ходил вслед за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из иих Суфьяи съел шесть, семеро овец пали по пути, а остальиые ушли дальше.

Нур-Мухаммед подвел иарод тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропиики, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все люди сиова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра иемного прожито времеии. Чагатаев одии ходил между спящими и боялся, что больше иикто ие просиется; ему скучио было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаииями. Он подошел к Айдым,— оиа спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятства или сновидеиия. Не имея радости в действительиости, оиа получала ее в своем чувстве и представлеиии, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, ие помия, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороие; ои шевелился на земле и шептал что-то.

— Ты что здесь думаешь? — спросил его Чагатаев.

— Больше сорока человек осталось,— произиес Мухаммед.— Миого еще!

Ои считал иарод — сколько его умерло, сколько еще живо.

Чагатаев потолкал Суфьяиа: старик ие спал, ои только держал закрытыми глаза, точно берег зреиие и не желал рассеиваться душой среди впечатлеиий видимого диевиого мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьяи ие разделил его горя, ои промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец — оии могут найти влажиый песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.

Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене — оттуда, где была почта,— чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.

Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его — от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и вскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна,— или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.

Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками,— это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.

Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу,— он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине,

где нечему шевелиться. Черные столбы небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя — он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.

Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нацеживал ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уцелевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна. Когда осталось в живых лишь тридцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости,— баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди

овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали,— он знал худобу их костей и теплоту цельного, смирного тела.

Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобрались все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.

Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами, Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров — они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.

Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксеня — далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела... Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатай. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.

Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном, чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем

сбегал иесколько раз к песчаному колодцу и приием воды в пригоршие, чтобы дать запить лекарство.

Стало уже поздио. Чагатаев озяб, прилег к одному иаиболее горячему больиому, желая согреться об его тело, и усиул. Наутро бараи и все овцы исчезли. Судя по следам, оии ушли в открытые пески, оставив свою обычиую кормовую дорогу.

11

Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы немииуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружиостью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязиые озера Сары-Камыша, иевдалеке от которых находится родииа всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут иа Сары-Камыш во впадииу вечиой теин н увидят темные горы Усть-Урта, где миогнми, кто здесь находится, была прожита вся жизиь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.

— Мы пойдем за инмн,— сказал он.— Мы будем пнть их кровь н есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша... Кто-иибудь умер сегодня иочью? — спросил Нур-Мухаммед.

Ему ответили, что умерла одиа старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записиой кинжке. Чагатаев ие помиил этой старухн и не видел ее — она ночевала одна, уйдя далеко от общего стаиа, и там умерла спокойио.

Народ пошел длинной чередою по следу бежавших овец. Больиые и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позадн всех, чтобы никто не пропал и не умер иезаметио. Животиые, вероятно, бежали быстро; это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Ои выходил иа высокие бархаиы н до последиего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада — овцы ушли слишком далеко.

Старая хивинская рабыия-туркмеика дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе н повеселела — для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточио предметов для всех чувств и впечатлеиий. Когда оиа уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у иего на плече, вскрикивая иногда

и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бредущего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.

До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил — кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей — Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.

На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико — они теперь походили на шакалов,— а в хвостах у них не осталось никакого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинок, вода же встретилась два раза в такырных ямах.

Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.

— Зачем вы хотели умереть? — спросил их Чагатаев.

— У нас душа занемела от жизни,— сказал Суфьян,— кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю...

Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.

— Нам не живется,— сообщил он вслух,— мы каждый день пробовали.

— Ннчего, мы вместе научимся,— сказал им Чагатаев.

— Немного потерпнм,— согласился Суфьян,— а потом иечаяино все помрем.

Русскнй старик, по имеии Старый Ваиька, подошел к Суфьяиу, попробовал его горло, разверз веки и заглянул виутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:

— Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, побьемся, да и меду в кадушках дождемся — с толстым ломтем подойдем да макием...

Русский отошел, улыбаясь. Почтн ежедиевио, в течение шестидесяти лет, жизиь его должиа окоичнться, но ои ни разу еще не умер н теперь разуверился в снле смерти н всякой беды, живя спокойно и равнодушио, как счастливый и бессмертиый. Чагатаев зиал, что Старый Ваиька иекогда — лет тридцать тому иазад — прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к иеродиому иароду и жил себе одииаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.

Ночью пошел пустыииый темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром н постепеиио закрыл иавсегда овечьн следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Раио утром ои отошел от спящих н дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмыслеиио и ослабевший иарод очутнлся среди пустынн, без еды и без помощи — у иего ие хватит сил достигнуть Сары-Камыша н он уже ие сможет вериуться назад, в разливы Амударьи.

Утреииий страииый ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружнлась в подиожье человека и стоиала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда нграла гармоиия, дальияя труба или, чаще всего, бедиая глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одиа песчннка истиралась о другую. Чагатаев лег иа землю, чтобы задуматься о дальиейшей своей работе; ие для того его послалн сюда, чтобы ои умер здесь сам и оставил своему иароду его смертиую участь... Он попробовал рукою свое лицо; оио обросло волосами, в голове завелись вши, иемытое худое тело скорбело от запустеиия. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучиом человеке. Кто его помиил сейчас, кроме Ксеии? Но и та, наверио, уже стала забывать: юность сейчас слишком воодушевлеиа своими счастливыми задачамн. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех иепросиувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и иадолго, затаилось виутри тела, отжило иа время, чтобы ие умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный

песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир; потому что он умер и теперь открыл рот, в котором говорили теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.

Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.

Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушенный колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, но сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспамятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшиеся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния... Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть в беспамятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего мира.

Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и сжевал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев поползал еще по окрестности в несколько ша-

гов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бесцельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то, однажды,— вся прожитая жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами,— сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще бормотал что-то, прося или жалуясь [наверное, он давно умер в действительности], но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека, и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце — может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие, едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой, все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились толпою в голову Чагатаева, и если от них можно было спасаться в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть постоянно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался — не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки — за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.

Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная теснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане — животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане — животное, или кибитка, или машина,— сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.

Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром, выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал по-прежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо, что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.

— Не будет! — прошептал Чагатаев.

Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег обратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев услышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.

Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа — в невидимом отдалении — все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери — тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой — от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не

знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.

Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.

Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится на него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги послышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную изо всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза; дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой — с красными, синими и серыми перьями; это, вероятно, самка; брюхо обеих птиц было выпушено белым, снежным пухом — Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.

День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе, над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, разумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту и сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заме-

тила, что человек жив и видит ее. Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.

Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели,— она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том же положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен он не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей... Чагатаев вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.

Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.

Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.

Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птицы своим поясным ремнем, а другой конец ремня продел себе в глубину штанов — тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.

12

Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла

Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все время стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать, откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими,— надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешений, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.

В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него; люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.

Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекати-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону — против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.

Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам — эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбредаясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.

Нур-Мухаммед остановился.

Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, зва-

шего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода; здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому пожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.

Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разошелся в сумраке ветра и не свалился там лежать — в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся. Сгорбленная Гюльчатай давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду — штаны и халат,— бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ,— пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.

Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше,— ему больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афганистан и унести с собой Айдым,

чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.

Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту за окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытьи. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

— Уходи! Лучше я буду одна,— сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.

В пустыне смерклось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра,

наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.

Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибежала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.

Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.

За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла туда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.

Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.

— Спи! — сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.

Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.

Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ поглотал эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал щипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше б было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.

Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ

добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала треине н скрнп костей внутрн шевелящихся людей,— наверио, у иих высох весь жнр в суставах, н кости теперь мучнлнсь.

Нур-Мухаммед вндел издали это двнжение народа, но оио его ие иитересовало. Ои хотел сначала понскать в ближией округе какой-иибудь воды, хотя бы соленой, нначе он не дойдет до Хивннского оазиса. За Айдым он решнл вериуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее иапоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.

13

Чагатаев заплакал от боли во сне и просиулся; он подумал, что боль ему прнсиилась и сейчас пройдет. Две темиые птицы — одна прежняя самка, другая иовый самец — отошли от него. Трн раза онн клевнулн его тело сосущнмн клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернулн шеи н поглядели на Чагатаева — каждая птнца одиим глазом. Назар вынул револьвер н стал скорее стрелять в птиц, пока еще ие вышло миого кровн из его ран и не пропала сила, собранная во сие. Птнцы подиялнсь в воздух. Ои успел стрельиуть в них два раза, н одна птнца опустнла крылья и села вниз, сразу подломнв под себя иогн; потом оиа положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в иадоевшей усталостн; из горла птицы шла кровь н впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птнцы появнлось равиодушие, и оии задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закрнчала оттуда кратко и гулко, словио из пустого подземелья, и пропала в тумаие солиечного света.

Из-за бархаиа показалась Айдым. Оиа пошла к убитой птице и поволокла ее за иогу мимо Чагатаева.

— Айдым! — позвал ее Назар.

Девочка подошла к Чагатаеву.

— Дай иапиться! — попросил он.

Айдым подволокла мертвую птицу и, став иа колеин, приложила ее горло к губам Чагатаева н стала нажимать мокнущее горло, выданвая оттуда кровь в рот Чагатаева.

— Ты лежи иарочио как мертвый,— сказала Айдым.— К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убнвай, а мы будем кормиться...

— А где другие люди? — спросил Чагатаев.

— Там идут,— указала Айдым.

Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем зализала их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.

— Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие,— сказала она.— Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят...

Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей,— во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.

Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Некоторые люди увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды. Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреваться.

Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.

Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть, самого любимого мужа.

Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худою рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.

— Не ходи никуда, Айдым,— сказал Назар ребенку.— У нас скоро свое будет счастье.

— Я знаю,— ответила Айдым.— А он мне велит...

— Позови его,— сказал Чагатаев.

Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.

— Помираешь? — спросил Нур у Чагатаева.— Я думал, тебя давно птицы склевали.

— Зачем девочку уводишь с собой? — спросил его Чагатаев.

— Стало быть, нужно,— сообщил Мухаммед.

— Пусть остается с нами! — сказал Назар.

Айдым села около Чагатаева на песке.

— Я останусь,— сказала Айдым,— я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!

Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал языком волосы Айдым, на которых были капли влаги.

— Уходи один! — сказал Чагатаев Мухаммеду.

— Мертвым пора молчать! — произнес Нур-Мухаммед.— Повернись в землю и спи! — Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.

Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!

Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемежался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.

— Вы куда? — изо всех [сил] сказал Чагатаев.

Айдым заплакала на руках Мухаммеда.

— Возьми меня, Назар Чагатаев... Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут...

Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал. Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впилась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь на шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.

— Видишь, как больно тебе! — [рассказывала] Айдым.— Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!

Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.

Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девчонку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спереди к своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону прежде, чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.

Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала — скоро он умрет или нет.

Она пошла с Чагатаевым обратно.

— Скорей иди! — говорила она.— Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!

Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего облежанного места и опустился на него. Айдым направилась к народу, на общее становище. День еще был долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.

Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа... Нет, у птиц так не бывает, значит — друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там — за горизонтом или в далеких небесах — у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в

истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.

По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксени его память сберегала лишь в общих, неживых чертах — он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксеня, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.

День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами — ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до какого-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, однако назавтра он решил идти с народом на родину, в Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.

Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробиваясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.

Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся — это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими

в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла — жив или скончался ее сын,— она искала убитых птиц своими слепнущими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатай медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.

Вскоре эти же звуки многих трущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения рвущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком — не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели подобно глазам Моллы Черкезова,— ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.

Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.

Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное

счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.

В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.

14

Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксеня томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходил по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксеню на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксеню, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет на него и не убьется. Он крепко, еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара — опять в голову и в грудь — сбили его обратно.

Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе из самой глубины, из остатков исчезающей жизни яростную

силу, но жалящие удары орлиных клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, оттуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.

Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов — орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета заскрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей — их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти,— не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко, со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненые насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.

Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.

Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она уморилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в беспокойстве и опять пошла. Полуночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом проницательными глазами. Она знала, что не может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.

Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении — по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.

Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наесться. Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбежала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя. Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом — как ей быть. Она сосчитала овечью отару — в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании. Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца — там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с по-

следней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану, он был не очень худ и лишь тяжко дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился, чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.

Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в песке. Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было отрыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.

Айдым ощупала на становище всех спящих и беспамятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть.

Чагатаев долго не просыпался, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым поискала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было — пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полоски и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнеч-

иое утро. Ои разглядел орлов н узнал в самой крупиой птице самку, а другие два орла были гораздо меиьше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми вернымн друзьями своего мужа — его детьми.

15

Четыре дня иарод джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего ие переедал, а особо усердных иа пищу останавливала или била по глазу: иначе будет ие больио. Раиы иа теле Чагатаева подериулись плеиками и заживали; он отдал Айдым свое иижнее белье, и оиа сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизиь иосил при себе необходимый житейский иивентарь — спички, иголку, нитки, шило, какой-то старииный докумеит о своей личности, ножик и прочее добро,— он попросил Айдым обштопать его одежду. Айдым зашила все крупиые дыры иа халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; иа миогих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого ие хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила целые штаиы н рубашку, потому что ои заброснл свое платье где-то в песок, когда думал, что пора коичать жизнь, н с тех пор жил голым.

На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня — ей помогали штопать и шить только Старый Ваиька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жнзни народа, за распределеиием пищи, за сном и за оставшимися овцами,— чтобы их пасли и поилн н чтобы оии ие худели, ие проживали своего тела зря. На иочь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а бараиа укладывала рядом с собой н прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности нн одна овца ие убежала, хотя по всей иочи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, иа свою родину. Теперь осталось у иего десять овец н одиниадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хорошо н чувствовали, что оин существуют, не иапрягаясь памятью для воспоминания о самнх себе.

До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй деиь иарод увидел серое

плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия — впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.

Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески — границу пустыни — и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце,— иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан...

Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.

Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился к подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ущелий, заполненных травою перекати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекати-поля, который не попадал в такое мертвое ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.

Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урта, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних ста-

новищ — еще в ханские времена. Там не осталось никакнх заметных предметов, была лишь обычная пустошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами н умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка — Айдым почистила ее и надела себе на голову.

Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жнзнн. Она имела травяной покров на долгом протяженин, н еще теперь — в конце лета — не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былннкн. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды — озеро, куда стекал горный ручей весною и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долнны, множество черепах побежало от их ног, н, удалившнсь, они медленно повернули свои шеи и погляделн на прибывших — каждая черепаха одним черным, зоркнм и милым глазом. Чагатаев обрадовался нм; он теперь отдохнул н опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.

Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урта, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам,— дерево нужно было для поделки хозяйственных ннструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на рукн, чтобы она не уморилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы — от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшались лишь оттого, что он имел возможность держать кого-нибудь за руку, как в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку экономического института, любившую его, но умершую от болезнн в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову н заглаживала пальцами две плешины в волосах — следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.

У Чагатаева был только перочнннный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птнца когда-то уронила семя этого дерева нз воздуха.

В теченне нескольких дней в долине Усть-Урта, избран-

ной для жительства, работали только двое людей — Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей — кто жив, кто умер — и увидел, что не хватает одного ребенка — трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать — ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук...

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил...

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм,— ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ — наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи — из черепах, черепашьих яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучились и даже воображение — ум бедняков — все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное

уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин — на его душу и бога,— никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина — в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попалось ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби,— пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал — это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления — старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в худом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело не-

сколько человек людей, которые ожидали его пробуждеиия. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намереиия, ие льстится на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

Суфьяи склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная иадежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:

— Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к иему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь,— виио, рис, верблюда, счастье твоей жизни...

— Никто ие даст,— ответил Чагатаев.

— Немного давали,— говорил Суфьян.— Горсть риса, чурек, старый халат, вечерию песию бахши мы имели давио, когда работали иа байских хошарах...

— Мать велела мие самому кормиться, когда я был малеиький,— сказал Чагатаев.— Мы мало имели, мы умирали.

— Мало,— произнес Суфьян.— Но мы всегда хотели много: и овец, и жеиу, и воду из арыка — в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в иас не засыхали кости.

— Это вам давали чужую душу,— сказал Чагатаев.

— Другой мы ие зиали,— ответил Суфьян.— Я тебе говорю, если за малеикую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже иашей смерти, чтобы заработать себе счастье?

Чагатаев поднялся иа иоги.

— Хватит одной жизни! Теперь иаша душа в мире, другой иет.

— Я слыхал,— равиодушно сказал Суфьян,— мы зиаем — богатые умерли все. Но ты слушай меия,— Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева,— твой иарод боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, ииаче счастливые и сильиые придут его мучить

опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.

Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись — может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах перекати-поля, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков — песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь... Песня окончилась. Старый Ванька шевелил палкой костер и вытаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их — готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.

Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи на становище и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не

время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне — в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.

16

К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно укрывшись от ветра, от холода и мелкой, летающей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами — через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.

По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.

Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство — нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарожает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму — пусть туда ложатся все, кому не нравится на свете!

— Нам несчастных не нужно,— говорила Айдым,— глаз вырву и на стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..

Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.

Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не заметили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояние натощак в течение трех дней.

Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого баи на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.

Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.

Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила

о нем н сморщнла лнцо, чтобы заскучать н заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лощнны, н она решнла потосковать о Чагатаеве отдельио, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей кургаиче, то иензвестиый свет ослепнл ее. Около глнияиых домов горели такие ясиые огни, каких Айдым никогда ие видала. Оиа остановнлась н хотела уйтн иазад, чтобы спрятаться с овцами в пещере нли в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вериуться н посмотреть, что здесь будет. Оиа взяла барана за рог, а сама все глядела на огнн около глнняиых домов; интерес и удивление одолели в ией страх, оиа повела маленькое стадо домой. Она думала: огни — это либо звери, либо умиое такое — оттуда, где жнвут большевики.

Айдым увидела фнгуру Чагатаева, прошедшего мнмо огия. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись, ухватнлась за его иогу. Чагатаев подиял ее к себе на руки н отнес спать в дом иа травяиую постель, а сам вернулся иаружу разгружать автомобилн. Он встретил их на второй деиь своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжеиию из Ташкента два грузовых автомобнля вышли из Хнвы еще четыре дня назад. На одной машние были мясные консервы, рнс, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры н лопаты, одежда, кингн н прочее добро, а на другой — двое людей, бочки с бензином, масло н запасиые части.

Из Ташкента велели разыскать в райоие Сары-Камыша нли между Усть-Уртом н Аральским морем кочующее племя джаи и помочь ему всеми средствами, а впредь до иахождеиия того племеин илн следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машннам иазад ие возвращаться.

К полиочи машиив была полиочью разгружеиа, и Чагатаев сел пнсать доклад в Ташкент о положеиии народа джаи, пока шоферы и иачальник экспедиции заправляли машины в обратиый путь. Чагатаев писал до рассвета; ои предлагал в коице своего письма дать возможиость оправнться иароду от многолетиих бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь прислаиной помощью республнки), а самое главиое — каждому здешиему человеку нужио виовь иажить себе прожнтое почти до виутреиних костей, нстощнвшееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и созиательиая мысль.

Чагатаев отдал письмо иачальнику, и автомобили поехали в Хнвиский оазнс. Еще все людн спалн, было рано,

в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор н лопату, разбудил Старого Ваиьку и Тагаиа и пошел с иими корчевать саксаул. В полдеиь оии возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухою травой и стала готовить обед из иовой пищи, которую почти никто ие пробовал в жизии.

Коисервиое мясо и рис сразу иасытили людей, ио они утомились от этой еды иастолько, что все засиули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить второй обед и сам начал делать лепешки нз белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание иемиого вредио, ио ои спешил иакормнть людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы оии приобрелн бы хоть иемиого того чувства, которым богаты все иароды, кроме них,— чувство эгоизма и самозащиты.

Третий обед готовил Суфьяи. Ои когда-то вндел, что ели баи в Хорезме, и сделал приблнзительно разные кушаиья иа память.

Чагатаев с иаслаждением иаблюдал, как ест его народ — без жадностн, осторожно сберегая пищу у рта, с сознаиием иеобходимости н с кроткой задумчивостью, точио представляя в своем воображеиии лица и душу тех людей, которые тяжко добылн эту пищу и подарилн им ее.

Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начиет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого иечем заииматься и сердцу стыдио. Изредка ои говорил с матерью, оиа ничего теперь не проснла у иего, только гладила его ногн н тело поверх одежды; ои держал ее согиутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы нскупнть и утешить это почти уинчтожеиное существо, виутри которого он начал жить. Он не зиал, что его мать вспомниала о нем лншь благодаря укорам со стороиы Айдым и втайие утирала слезы, поиимая, что иадо любнть сыиа, н не имея, ие помия его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.

Через несколько дней сильно захолодало, в одиом доме пришлось жарко нстопить печь и заодио прнготовнть обильный обед, потому что печь служила н для тепла и для кухии. В другнх домах печей не было устроеио. Снльный ветер дул с высот Усть-Урта и иес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в гориицу дома, где иочевала сама, и оставила их там иа иочь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельиой тачке в пяти бурдюках; он

поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер,— все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.

В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.

Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде. Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.

Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.

Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.

Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег — пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.

К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева — зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ — он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав

такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.

Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять посмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.

Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.

— Бросай, я не умру! — сказала Айдым.

Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:

— Назар, они когда проснутся?

— Скоро, скоро... Может, просыпаются уже.

Айдым задумалась.

Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.

К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.

Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого

сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.

Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.

— Теперь мы помрем! — говорил он.— Не горюй о нас, девчонка...

На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Натопленный дом, где остался ночевать народ, был пусть от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы; обеспокоившись, потрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть — табак и спички, которые брали всегда без счету.

Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга. Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урта к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.

Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.

Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Ка-

мыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом...

Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.

Ему все же казалось, что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь, и она возможна в маленьком народе, в четырех избушках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекати-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то.

Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.

— Назар, хочешь, я поплачу по ней? — спросила Айдым.

— Не надо,— сказал Чагатаев.— Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?

— Нет, я спала,— ответила Айдым.— Старый Ванька мне сказал, когда я уходила...

— Что сказал?

— Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.

— А ты что?

— А я ничего... Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.

— Почему — у ишаков?

— На всякий случай сказала!

Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..

17

Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах... Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по хозяйству — на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ

джаи,— и время от времеии оиа выходила глядеть иаружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, иаверно, скучио жить с одиой Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему иароду иедолго; ои бродил несколько дней в удивлеиии, что он оказался иенужным для своей родины и люди одиой земли с иим предали его забвению в своей памяти, оставив его и самую младшую, едиинствеииую свою дочь сиротами в пустыие. Чагатаев ие поимал равнодушиого, окоичательиого забвеиия; ои помиил людей иеизвестных и давио умерших,— даже тех, которые ему были бесполезны и самого его ие зиали,— ведь ииаче если погибших и исчезиувших быстро забывать, то жизнь вовсе сделается бессмыслениой и жалкой: тогда остается помиить только одиого себя. Одиако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев ие мог; ои стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим домам, к мелким животиым, проживающим повсюду в природе, и к обмершему кустарику.

Назар иаходил в укромиых, теплых пещерках оврагов спящих черепах и прииосил их домой. Некоторые из иих отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого, будущего лета... Чагатаев чувствовал с удивлеиием, что можио существовать и совместио с одиими животиыми, с беззвучными растеииями, с пустыией иа горизоите, если иметь в ближием жилище хотя бы одного человека,— пусть даже это будет ребеиок, как Айдым. И здесь, в бедиой природе Усть-Урта, иа ветхом дне Сары-Камыша — есть важное дело для целой человеческой жизии. Не может быть, чтобы все животиые и растеиия были убогими и грустиыми — это их притворство, сон или времеииое мучительиое уродство. Ииаче надо допустить, что лишь в одиом человеческом сердце иаходится истиииое воодушевлеиие, а эта мысль иичтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в териовиике есть благоухаиие, озиачающие великое виутреииее достоииство их существоваиия, ие иуждающееся в дополиеиии душой человека. Может быть, им требуется иебольшая помощь со стороиы Чагатаева, ио превосходство, сиисхождение или жалость им ие иужиы...

По вечерам Айдым зажигала лампу. Оиа садилась за столом против Назара и делала что-иибудь, чего ие успела сделать дием: расчесывала себе блестящие, чериые волосы, иабирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картиики в киигах, ие поиимая, что оии изображают, или просто глядела иа Чагатаева, не сво-

дя с него глаз, и разгадывала, что́ он думает — про нее или про другое.

— Назар,— спросила Айдым в один долгий вечер.— Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?

— А тебе плохо сейчас со мной? — сказал Чагатаев в ответ.

— Нет, мне хорошо теперь,— произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту.— Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь...

Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности,— они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обманут доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше, и долго томиться каким-либо мученьем она не может.

— Назар, чего я всегда ожидаю? — опять спросила Айдым.— Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает... Отчего у меня сердце начинает болеть?

— Ты растешь, Айдым,— сказал Чагатаев.— Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть — ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.

— Не бывает,— согласилась Айдым.— А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода болело, она мне сама говорила... Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное, а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь [...]

Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.

— Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! — сказала Айдым.

— Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? — спросил Чагатаев.

— Не от голода,— ответила Айдым.— У меня от чувства... Назар, отчего я чужая?

— Кому ты чужая, Айдым? — спросил Чагатаев.

— Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался,— сказала Айдым.— Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?

— Я от тебя не уйду,— пообещал Чагатаев.

— Назар, скажи мне что-нибудь главное...

Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала — раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.

— Главного я не знаю, Айдым,— сказал Чагатаев.—

Я не думал о нем, некогда было... Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное...

Айдым согласилась:

— Немножко только... а неглавного — много.

Айдым собрала ужинать — вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.

После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать — не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме... Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?

Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:

— Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу...

— Туши,— ответил Назар,— я потом опять его зажгу.

— Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! — сказала Айдым.— Ты в темноте ложись...

Айдым ушла в дом. Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе — их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно,— звук сразу заблудился и исчез.

Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым,— оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.

— Айдым,— прошептал ей Чагатаев.

Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.

— Спи, Назар,— сказала она.

— Нет, я сейчас не буду,— ответил Чагатаев.— Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.

— Приходи скорее,— попросила Айдым.

— Ты не скучай без меня,— сказал Назар.

— Не буду,— пообещала Айдым.— Ступай скорее, а то они ослабеют — они теперь набегались, наигрались, им пора домой.

Чагатаев тронул рукою голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.

Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего,— и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало — в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока не вернется к ней остальной народ.

Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли... На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.

Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади на низких деревянных столах тоже шла торговля добром пустыни. Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве,

с нзображеннем всей участн человека в внде грустного повторяющегося рнсунка; затем целый ряд был занят небольшимн вязанкамн дров — саксаульннка и далее снделн старикн на земле — они положнлн против себя старнннные пятакн и неизвестные монеты, железные пуговнцы, жестяные бляхи, крючки, старые гвоздн н железкн, солдатские кокарды, пустые черепахн, сушеные ящерицы, изразцовые кирпнчи нз древннх, погребенных дворцов,— н этн старики ожндалн, когда появятся покупателн н прнобретут у ннх товары для своей нужды. Женщнны торговалн чурекамн, вязанымн шерстянымн чулкамн, водой для пнтья н прошлогодннм чесноком. Продав что-ннбудь, женщнна покупала для себя у старнков жестяную бляху на украшенне платья илн осколок изразцовой плитки, чтобы подарнть его своему ребенку на нгрушку, а старнкн, выручнв деньгн, покупали себе чурекн, воду для пнтья нлн табак. Торговля шла тож на тож, без прнбылн н без убытка; жнзнь, во всяком случае, проходнла, забывалась во многолюдстве н развлеченнн базара, н старнкн былн довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в нх внутренних дворах, находнлнсь чайхане; там сейчас шумели большне самовары н людн велн свою старую речь между собой, вечное собеседованне, точно в ннх не хватало ума, чтобы прнйти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожнлой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обнтый железом по углам,— н Чагатаев вспомннл этого человека: он вндел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был корнчневый н старый. Он ходнл по аулам н городам со своим инструментом н матерьялом в сундуке н чнннл, луднл н чнстнл самовары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделалн его корнчневым, жесткнм, с нелюднмым выраженнем, н маленькнй Назар нспугался пустынного, самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочнй-узбек тогда же первый поклоннлся мальчнку, подарнл ему согнутый гвоздь нз своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-ннбудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящнка, прнслоннвшнсь к нему, стояла туркменская девушка; она прнжнмала рукою яшмак ко рту н смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону — н увндел на краю пустынн, ннзко от землн, череду белых облаков, нлн то былн снежные вершины Копет-Дага и Пара-памнза, нлн это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мнра.

О чем же думала сейчас душа этой девушки,— неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны бы передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая, молодая мать... Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.

Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.

— Ханом,— ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.

— Пойдем со мной,— сказал ей Чагатаев.

— Нет,— постыдилась Ханом.

Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.

Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.

Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан; под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у ночных сторожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей,— не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.

— Бывают всякие люди,— ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский.— Я их не упоминаю: тут ведь азия, земля не наша.

— А сколько лет вы здесь живете? — спросил Чагатаев.

Сторож приблизительно подумал.

— Да уж близу сорока годов,— сказал он.— По правилу, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу,— свою давно прожил...

И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народ джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.

К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой — чинила себе платье в подоле запасной ниткой, наващивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одною рукой; она перестала чинить платье и замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто, более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что остается жить после него — в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей — одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте — и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным... Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.

Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым

и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб — всю прелесть дорогого ему человека — и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.

Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного — поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков,— сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..

Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.

Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга — всего не забудешь.

— В Уч-Аджи видел,— тихо сказал узбек.— Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.

— Он Старый Ванька? — спросил Чагатаев.

— Старый Ванька,— сказал рабочий-узбек.

— А ты сейчас далеко уходишь? — спрашивал Назар.

Мастеровой помедлил — он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.

— Далеко,— сказал узбек.— В Чарджуй ухожу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли — каналы копать; я кончаю самовары работать...

— А тебе сколько лет? — интересовался Чагатаев.— Ты успеешь механиком научиться?

— Успею,— обещал самоварный рабочий.— Мне семьдесят четыре года — это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?

— Лет полтораста? — спросил Назар.

— Может быть! — ответил старик.

Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется — дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать ему на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота

иужны сейчас наличные средства. Чагатаев обещал хозяииу заплатить задаток и сиова пошел иа хивииский базар.

К полудню ему удалось продать свой ватиый пиджак: время уже все равио шло к теплу. Ои взял иемиого деиег себе, а остальиые заплатил хозяииу чайхаие в задаток за прокормлеиие Хаиом.

Чагатаев разбудил спящую Хаиом и сказал ей, чтоб оиа жила здесь, пока ои вернется. Хаиом улыбиулась ему теплым, согретым во сие лицом и велела Назару побыть еще с ией иемиого. Чагатаев побыл с ией, а затем оставил Хаиом одну в глиияиой комиате и ушел из Хивы. Ои отправился сиачала в южную стороиу Хивииского оазиса, а потом — там видио будет...

18

Через три дия Чагатаев мииовал последиий аул Хивииского оазиса. Опять перед иим открылась обычиая пустыия; кусты перекати-поля брели под ветром через песчаиые холмы, стариииая дорога вела иа далекие колодцы [...]

Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Ои хотел еще к вечеру ыиешиего дня дойти до следующего оазиса — может быть, там окажется кто-иибудь, кого ои ищет. Куда же оии все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, оии все погибиут в иищете, в отчуждеиии, по пескам и чужим аулам... Никакой иарод, даже джаи, ие может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; ииаче, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узиать рассеяиие своей грусти и утешиться, где иезаметио умереть... Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумиом уиыиии.

Если бы Чагатаев ие воображал, ие чувствовал [...], как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, ои бы ие мог узнать мысла своего существоваиия,— и ои бы вообще не сумел жить сейчас без ощущеиия той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшеииости и голодиой смерти и поддерживает теперь в достоииստве и человечиости. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вииз лицом и замер...

Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, иа склоие бархаиа. Оии были худы и подобиы собакам. Чагатаев уже мииовал их, ио овцы пошли за ним следом, может

быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может — от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.

К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй. Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.

Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня видимо тронула всех здешних людей,— они молчали, не замечая вошедшего, чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках...

По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на дутаре, передал ее теперь Суфьяну,— тот взял ее к себе и тщательно ощупал.

— Играть хочу, песню сам выдумал, сердце у меня хорошее,— сказал Суфьян,— а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу...

На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь, в рядно.

Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:

— Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю... Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит,

ты жил добрым — я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтоб мне стало хорошо.

Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.

После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?

— Народ жить разошелся, Назар,— сказал ему Суфьян.— Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.

— А зачем ему ходить? — удивился Чагатаев.— Он опять силу потратит!

— Нужно,— ответил Суфьян.— А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.

— А куда они все пошли?

— Я не спрашивал — пусть каждый сам думает,— сказал Суфьян.— Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю — мне его мало видеть осталось...

Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.

— Пойдем со мной,— сказал Суфьян Чагатаеву.— Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощенье...

— Я могу выдумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают,— сказал Назар.

— Ты мне спой их по дороге,— произнес Суфьян.

Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.

19

До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада,— были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такырам в кочевья и, наконец, от Ашхабада побрели на Дарвазу.

Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного

человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.

— Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна,— сказал Суфьян,— счастье у него не отымешь...

В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что сталось с Ханом, девушкой, видимо, несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков — в качестве угощения за свою музыку,— и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.

Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу, встречая около них обыкновенно по нескольку кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев становился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел их изредка щепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.

На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайханы еще не спит и не закрыл дверь в заведение...

Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом, и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Хан.

Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:

— Она по тебе сильно соскучилась.

— Я пришел теперь,— сказал Назар.

— Она давно ушла от нас,— сообщил этот человек.— Она пошла тебя искать...

— Куда? — спросил Чагатаев.

— Не сказала,— произнес хозяин.— Она плакала один раз, потом молчала.

Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца — тогда он есть ничего не будет.

— Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? — спросил Назар.

— Денег не надо,— сказал хозяин.— Она мне посуду мыла, чайхане убирала, она работала...

Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной, бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.

Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью... В полдень, в жару Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера... Ночью он вошел в пределы сары-камышской впадины и впервые за дорогу от Хивы напился из небольшого мелкого озерка плохой, засоленной водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени...

Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнущий пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на удаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно... Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припала головой к животу Чагатаева и уронила ведро,— Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она по-

чувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро — он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, а потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у верблюда, должно быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.

— Они не знали, где им пить,— сказала Айдым.— Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют... А наружной воды мало бывает...

— А другой верблюд откуда? — спросил Чагатаев.

— Другого я сама нашла,— ответила Айдым.— Я в пески ходила тебя смотреть, думала — ты близко... А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула — верблюд лежал горлом на срубе, смотрел на воду в колодце и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и дала ему пить...

Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.

— Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь уморился и есть хочешь,— сказала Айдым и убежала обратно.

Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой лощины и уснул, забылся всеми своими изнемогшими костями.

Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый, доверчивый голос, зовущий его.

— Ханом! — сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас — сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.

— Назар! — сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.

Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди — человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.

— Здравствуй, Назар,— сказал Молла Черкезов.

— Разве ты видишь меня? — спросил его Чагатаев.

— Немного вижу,— ответил Черкезов,— я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане...

— Кто их тебе целует? — спросил Назар.

— Ханом,— сказал Молла.— Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре... Спи,— Айдым не велела тебя будить.

— Я проснулся,— сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.

Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.

Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и вошла вослед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа? Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.

Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.

В том жилище, где Айдым собрала общий, праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркменов, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему

своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство...

Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова возвращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в дувале.

— Зачем вы ушли от нас тогда зимой? — спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.

Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:

— Мы думали, что уж давно нету ничего на свете... Мы думали, одни мы остались — к чему ж тогда и нам жить?

— Мы проверить пошли,— сказал Аллах.— Нам интересно стало, где есть другие люди.

Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?

— Умирать не надо,— произнес Черкезов.— Один раз умрешь — может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек своего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия...

— А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? — спросил еще Чагатаев.

— Овец мы заработали,— сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.

Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах, равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлась выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссейной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало,— они отвыкли за прежнюю жизнь,— бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась,— поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился — и пошли постепенно домой на

Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище... В пустыне — у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах — жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди джан гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.

— Вот они с нами теперь живут наравне,— указал Старый Ванька на чужих людей.— Пусть живут: от народа не победнеешь...

— Нет, вы будете богатыми,— произнес Чагатаев.

— Устроимся, и будем,— согласился Старый Ванька.— Мы по-мертвому жили, а по-хорошему жить нам не трудно.

— Не интересно даже,— сказал Аллах.

— Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное,— ответил Чагатаев.— Горе и печаль к нам тоже еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.

— Это ведь правда! — сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.

— Из какого вы племени? — спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.

— Мы — джан,— ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюдимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково — джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли,— своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это — богатство бедных...

Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна, прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.

До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду — для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.

В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет — выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.

Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше...

Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.

— Айдым, посмотри на всех, кто остался,— сказал Назар.— Попрощайся!

— А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу,— ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.

Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.

Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению кочевого племени джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою большую дорогу, а не останутся

лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.

Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переодел ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятал зачем-то к себе в карман.

Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая дневные впечатления.

В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксеня, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке,— в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксеня не заметила сразу, что около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксеня, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прислонив ее тело к своей груди. Ксеня была вдвое больше Айдым, но все же она раскраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксеня наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.

— А куда мы поедем? — спросил Чагатаев у Ксени; ему некуда было ехать в Москве.

— К моей маме,— ответила Ксеня.— Я забронировала ее комнату для вас.

В автомобиле Ксеня сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности, когда жизнь от наслаждения кажется позором.

Автомобиль остановился. Ксеня передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.

— Только у меня адрес теперь другой,— сказала она.— Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала...

Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попрощались. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.

В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель, не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.

Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в магазины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто — для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.

Вечером они поехали в гости к Ксене. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагатаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксеня.

В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксени.

Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью. Ксеня усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валились у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть керосиновую, бутылку, и вино разлилось по столу бесполезно. Ксеня убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксеня вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия,— даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.

Поев из вежливости угощеиье, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ией еще раз — через несколько дией.

Но они увиделись раиьше,— на следующий вечер Ксеня пришла к Чагатаеву сама. Оиа хотела помочь Айдым, как старшая жеищииа девочке. Ксеиия повела ее в баию, из бани оии отправились кататься иа метрополитене и вериулись домой уже поздио.

В выходиой деиь Ксеия приехала с утра и привезла с собою иесколько штук своего белья, из которого оиа сама выросла, а для Айдым оио было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в киио и возвратились к вечеру. Айдым свериулась иа постели матери Ксеии и сразу заснула. Чагатаев и Ксеия сидели против спящей девочки на маленьком диване; оии молча глядели иа Айдым, иа ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и иа ясиое выражеиие ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже иезиачительиыми и слабыми. Чагатаев взял руку Ксеии в свою руку и почувствовал дальиее поспешное биеиие ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к иему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к иему придет лишь от другого человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

Собранные в настоящем издании повести и рассказы А. П. Платонова принадлежат зрелому периоду его творчества, которому присущи острая обеспокоенность судьбами общества и углубленный поиск социально-философских решений сложных проблем современности. Часть произведений настоящего сборника опубликована лишь в последнее время (повести «Котлован», «Ювенильное море»), другие (рассказы «Усомнившийся Макар», «Че-Че-О», повесть «Впрок») мало известны советскому читателю, поскольку, получив несправедливую отрицательную критику в печати, не переиздавались после первой публикации.

Сокровенный человек. Впервые — сб. «Сокровенный человек». М., 1928.

Одним из первых, прочитав в рукописи, о повести отозвался А. К. Воронский. Он писал А. М. Горькому 11 августа 1927 года: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий русский Уленшпигель — занятно...» В дальнейшем эта повесть вызвала самые разноречивые оценки. Р. Мессер в статье «Попутчики второго призыва» писала о том же Пухове: «Он в конце концов ушиблен революцией, он ее восхищенный и подавленный наблюдатель... Он идет на поводу у революции, за ее «красоту», но не знает своего места в ней» (Звезда. 1930. № 4). М. Майзель отмечал редкую заинтересованность Пухова в судьбах революции, но видел лишь созерцательное, «попутническое» отношение к ней: «Самые героические поступки Пухов совершает сомнамбулически, толкаемый своеобразной авантюрной любознательностью. Мир, раскрывающийся перед ним, раздражает его пытливость и в своей неорганизованности проигрывает при сравнении с высшей гармонией механики... Отношение Пухова к революции определяется своеобразным боевым и одновременно созерцательным фатализмом. Революция привлекает его, главным образом, как некий социальный аперитив, возбуждающий вкус к жизни» (Звезда. 1930. № 4).

Таковы были давние, как отметит В. Дорофеев — автор предисловия к одному из первых после смерти Платонова сборников «В прекрасном и яростном мире» (1965), попытки «составить масштабную картину души» платоновского героя на основе социологических схем. В статье В. Дорофеева, в работах Л. Шубина, С. Бочарова, В. Эйдиновой, В. Скобелева и В. Свительского, В. Васильева, Т. А. Никоновой, Е. А. Краснощековой критическая мысль отчасти успешнее пыталась разгерметизиро-

вать удивительный характер платоновского Уленшпигеля. Участие в делах революции как «лучшей судьбе людей» неразрывно связано в Пухове с уяснением самого себя, самопознанием, «психологическим освоением ее отдельными людьми» (Никонова Т А. Человек и революция// Творчество А. Платонова. Воронеж, 1970. С. 163) Повесть неоднократно издавалась, входила в различные сборники Платонова, Собрание сочинений (1984).

Че-Че-О (Областные организационно-философские очерки) — в соавторстве с Бор. Пильняком. Впервые — «Новый мир». 1928. № 12.

Созданию очерков предшествовала совместная поездка Бор. Пильняка и Андрея Платонова в Воронеж летом 1928 года по командировке «Нового мира». Параллельно с работой над очерками писатели создали сатирическую пьесу «Дураки на периферии», которую Бор. Пильняк читал — текст пьесы не был опубликован — на одном из собраний Всероссийского союза писателей. Возможно, что и пьеса, исследующая проблемы бюрократизма, сходная тематически с платоновским «Городом Градовом» (1927), и очерки писались на даче у Бор. Пильняка в Ямском Поле. Очерки подписаны этим адресом — «Ямское Поле». В дальнейшем пути писателей разойдутся. Платонову, безусловно, были чужды слишком элементарные, упрощенные схемы, исторические антитезы Бор. Пильняка, его противопоставления: «машины» и «волки», «инстинкты» — «индустриализация», «азиатские сонные стихийные силы» — «европейский деятельный рассудок» и т. п., дававшие знать о себе в романах «Голый год», «Машины и волки». Для Платонова не так уж дика и достаточно разумна «азиатская стихия» и весьма ограничен арифметический рассудок европейца Бертрана Перри («Епифанские шлюзы»).

Очерки «Че-Че-О» возникли в атмосфере обостренного внимания в стране к проблеме бюрократизма. «Борьба с бюрократизмом в госаппарате, борьба с многочисленными буржуазно-чиновничьими остатками и влияниями... должна быть одной из центральных задач нашей партии»,— говорится в резолюции Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), работавшего 14—23/VII—1926 года. «Бюрократизм являлся громадным злом на протяжении всего периода существования Советской власти. Это зло становится еще более опасным в настоящее время»,— констатировала XV конференция ВКП(б) в том же 1926 г. (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК//1898—1952. Ч. 11. 1924—1930 г.— М., 1954. С. 273, 297).

Стиль Платонова явно преобладает в очерках. Мысль о бюрократизме как новой социальной болезни будет развита им затем в романе «Чевенгур» (1928—1929), в «Котловане» (1930). Очерки «Че-Че-О» были подвергнуты необъективной критике в журнале «На литературном посту» (1929. № 1): в анонимной статье журнал писал, что Бор. Пильняк и Андрей Платонов «с тупым высокомерием безнадежных верхоглядов

поглядывают на громадную работу по районированию», что они обратили внимание «всего на одного человека, некоего Федора Федоровича». В статье делалась неуклюжая попытка отъединить соавторов: «без сотрудничества Пильняка рабочие Платонова говорили совсем другие вещи».

Очерки не переиздавались до последнего времени.

Усомнившийся Макар. Впервые — «Октябрь». 1929. № 9.

Уже в очерках «Че-Че-О», т. е. в 1928 году, Платонов горячо протестовал — не против коллективизации! — против бюрократических приемов, командно-административных способов реализации перестройки деревни: «Колхозцентр уже трудится, а кроме него — сосчитаем про себя — волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы норовят влипнуть в колхозное строительство,— и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить» (выделено нами.— *В. Ч.*).

Тревога, конечно, уже очень острая. В ней предугадана вся проблематика очерковой литературы о деревне многих последующих десятилетий... Временами и в очерках звучат слова: «...а бюрократическое (руководство.— *В. Ч.*) иной раз обращается прямо во вредительство»; «как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!» и т. п. Но критика писателя питалась надеждой, что разрушение, истощение народной инициативы, превращение миллионов людей в простых исполнителей, нарастание потока мелочных директив еще возможно прекратить как явно абсурдную затею. Есть иные пути превращения безмашинной деревни в сферу механизированного труда, преодоления отсталости и разобщения, укрепления смычки с городом и т. п. Их могла бы подсказать сама деревня.

1929 год многое в этих надеждах Платонова поколебал, это и отразилось в «сомнениях» Макара. В этом году газеты начали уже сообщать «об охвате колхозами целых селений, о переходе к сплошной коллективизации районов и округов», т. е. полному торжеству методов администрирования,— замене убеждения одергиванием и угрозой. Лозунги о революционизирующем воздействии индустрии на деревню, о политике «быстрого темпа» и т. п. уже не успокаивали Платонова; он видел за этими, в принципе верными, словами бесконтрольное самоупоение бюрократической стихии, возможность жестоких просчетов.

Платонов был не одинок в своих предчувствиях и тревогах.

Михаил Шолохов в июне 1929 года (ему только что исполнилось 24 года) был в не меньшей мере потрясен тем, с какой жестокостью проводились «чумовыми» хлебозаготовки и коллективизация на Дону. Нашествие «чумовых», вернее, чем-то зачумленных, извращенных механических исполнителей, не знавших границ между нравственным и безнравственным, готовых ради достижения цели «любой ценой» прибегнуть к средствам, чернящим эту цель, жалобы людей, ставших жертвами этого

разрушительного процесса. Михаил Шолохов воссоздал в недавно обнародованном письме Е. Г. Левицкой:

«...Вот уже полтора месяца, как творятся у нас нехорошие вещи. Я втянут в водоворот хлебозаготовок (литературу побоку!), и вот верчусь, помогаю тем, кого несправедливо обижают, езжу по районам и округам, наблюдаю и шибко «скорблю душой»...» (Шолохов о просчетах во времена коллективизации//Моск. новости. 1987. 12 июля).

М. А. Шолохов рисует страшные картины реквизиции имущества у казаков, которые в 1919 году добровольно уходили в Красную Армию,— теперь они не знают, где искать защиты от роковой напасти: «У него (одного из жалующихся Шолохову.— *В. Ч.*) продали все вплоть до семенного хлеба и курей. Забрали тягло, одежду, самовар, оставили только стены дома. Он приезжал ко мне еще с 2 красноармейцами. В телеграмме Калинину они прямо сказали: «Нас разорили хуже, чем нас разоряли в 1919 году белые». И в разговоре со мною горько улыбался. «Те,— говорит,— хоть брали только хлеб да лошадей, а своя родимая власть забрала до нитки. Одеяло у детишек взяли»... Конфискованный скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились, и жеребят пожирали свиньи (скот весь был на одних базах), и все это на глазах у тех, кто ночи не досыпал, ходил и глядел за кобылицами... После этого и давайте говорить о союзе с середняком...»

Буря под деревенскими крышами... Жестокий вихрь в сознании, в душах множества людей, которые, как платоновский герой, хотели найти и не находили ответа на вопрос: неужели никакого иного варианта их судеб история не могла предложить?

Превращение массы людей, трудившихся разумно, на основе опыта, вековых традиций народной любви к земле, в исполнителей, чей опыт и разум уже как бы не очень-то и нужны всесильной якобы машине бюрократизма, могло породить то состояние взвешенности, неопределенности, которое пережил Макар: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» Многие в то время могли увидеть себя героями того же «сна», что видел Макар: вопрошающими безмолвную, надысторическую силу, учитывающую лишь целостные масштабы, но не увидевшие частного Макара...

Как уже говорилось во вступительной статье, рассказ получил отрицательную критику и не переиздавался.

Котлован. (1930) Впервые — «Новый мир». 1987. № 6.

Есть один опорный образ, метафора всех мечтаний Андрея Платонова — романтического певца революции,— появляющийся в рассказе «Афродита» образ парусника, уходящего под светло-золотым небом вдаль: «И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему (герою рассказа.— *В. Ч.*) в тот час Советская Россия, уходящая в дали мира и времени».

Это ключевая метафора всей историософии Платонова: такого неистового романтика, с такой волей видеть желаемое, с такой нестерпимой проективностью любой картины, с такой жаждой победить бессмыслицу, абсурдность былого бытия, вероятно, не было ни в поэзии, ни в прозе 20-х годов. Он был уже в начале 20-х годов решительно недоволен всем. И той «экологической нишей», в которой существовало человечество: в этой нише его терзает то ледяное дыхание Арктики, то «туркестанская мгла», принесшая засуху 1921 года. Целые континенты, вроде неразмороженной Сибири или песчаных рек Азии, вроде Гоби, Каракумов, теснят человечество в его «нише», а оно смирилось с этим! (Сейчас мы сказали бы, что человечеству скорее должно вжаться в свою былую «нишу», чем расширять ее.) Недоволен он и культурной «нишей»! «Как непохожа жизнь на литературу (мальчик в Мелекесе): скука, отчаяние. А в литературе — благородство, легкость чувства и т. д. Большая ложь — слабость литературы. Даже у Пушкина и Толстого — мучительное лишь «очаровательно» — так запишет он одно из своих состояний («Труд есть совесть»). Он предельно «антисексуален»: даже дети у Платонова и позднее будут рождаться сразу... маленькими отцами и матерями.

Все, чем современная критика окружала Платонова, автора «Голубой глубины» (1922), серии научно-фантастических рассказов и повестей («Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт»), подбирая нечто аналогичное, «контекстное» в литературе,— вроде прозы Н. Н. Ляшко («Железная тишина» и др.), стихов поэтов «Кузницы» о железном Мессии,— кажется все же картонными декорациями из несколько другого спектакля. Никто из пролетарских поэтов и писателей 20-х годов, как и конструктивистов, футуристов, не был столь верным романтической мечте, и никто так и не вырос в явление, подобное Платонову,— явление, значение и смысл которого возрастало и возрастает.

Упомянутый выше «корабль Платонова», уходящий к обетованной земле, ведомый в конце концов идеей абсолютного счастья, абсолютной разумности общего и частного существования, т. е. утопической идеей Рая, мы, долгие годы не зная «Котлована», не очень-то нагружали сложностями, противоречиями, опасным и тревожным грузом! Что происходило в пути на **этом** корабле? Чем он был нагружен в прошлом? Каков был его непредсказуемый, первооткрывательский путь?

Даже сам язык Платонова, который только на первый взгляд кажется непрофессиональным, «корявым», изобилующим неправильностями и нарушениями грамматических норм... Улавливали ли мы и в нем скрытый протест против иллюзорной разумности и правильности мира? Даже элементы какой-то скрытой от наших глаз внутренней драмы, принявшей форму пародии на нечто дорогое самому Платонову? Делопроизводитель Степан Жаренов в рассказе «Родина электричества» (1926) в стихах писал из деревни Верчовка о своих надеждах и тревогах:

«Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив, он всю землю чисто в научное давление возьмет... Но не горюет

сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!»

В «Котловане» корабль Платонова предстал предельно «нагруженным»: здесь есть все, что может и радовать, и тревожить. Романтическое видение не исчезло, Платонов не оставил свой корабль, не стал созерцателем. И ему мучительно видеть многое, что вместилось в пространство «Котлована», в такие его уголки, где временами останавливается жизнь, где проблемой становится биологическое выживание людей. Повесть-гротеск — уникальное в истории мировой культуры предупреждение против безумия и дегуманизированного формализма и анархического безначалия.

Напряженные ожидания нечаянного явления, «чего-нибудь небывшего и драгоценного», а проще говоря, абсолютной разумности, тотальной оправданности, несомненного счастья, победы над былой бессмыслицей бытия, даже над «неправдой смерти» — все приводило к тому, что в пространстве повести Платонова то и дело возникали чисто фантастические образы вроде медведя-молотобойца, условные фигуры, чудовища из снов, фантомы, как бы повисавшие в воздухе.

Но корабль этот все же двигала энергия революции. При всех «диссонансах» и «перебоях», горечи личной судьбы писателя.

Не следует упускать из вида, что опыт создания «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря» при всем его трагизме был для Платонова предвестником последующего открытия Пушкина и главной его тайны — «способности бесконечного жизненного развития» («Пушкин и Горький»). Платонов жил и развивался внутри советской культуры, и одно из главнейших ее завоеваний — «ориентация на предельно полное представительство в литературе революционного народа» (Г. Белая) — привело в движение и всю систему его художнических средств, в том числе и язык, обусловило активность его реализма.

Впрок. (Бедняцкая хроника).— Впервые — «Красная новь». 1931. № 9.

Предыстория повести при кажущейся очерковости, тематической наглядности материала, бессюжетности — вновь «странствия», гротескные ситуации, полукомические происшествия «в марте месяце 1930 года» — достаточно сложна и не столь очевидна. Для Платонова эта повесть — итог многих месяцев труда в воронежской деревне в 1925—1926 гг., изучение опыта борьбы с бюрократией в 1928 году, раздумий над стихийным народным правдоискательством. Не следует удивляться и обилию рассуждений о мелиорации, машинизации деревни: Платонов-инженер не забывает о своем опыте по электрификации, по землеустройству, о своих мечтах о «золотом веке, сделанном из электричества». Но главный смысл повести, не оцененной правильно в свое время,— в глубоком предостережении одного из героев (Кондрова), который, несмотря на «постоянно грозящий ему палец из района», не хочет «заводить темп», т. е. быть подкулачником коллективизации, слепым ее исполнителем: «...Кондров

знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении...»

Повесть подверглась жестокой и предвзятой критике и с тех пор не переиздавалась.

Ювенильное море (1934). Впервые — «Знамя» 1986. № 6.

Повесть создавалась в атмосфере затянувшегося непризнания всех усилий Платонова «разъяснить» себя, свое место как активного участника в событиях первой пятилетки. В архиве писателя остались к этому времени неизвестными массовому читателю и пьеса об индустриализации «Высокое напряжение» (1932), и антифашистский рассказ «Мусорный ветер» (1933), и библейская повесть «Джан», над которой он работал в конце 1933 года. Из многопланового романа «Чевенгур» увидела свет лишь первая часть — повесть «Происхождение мастера» (1929).

Человеческая галерея повести — от бюрократа Умрищева с его лозунгом «не суйся!» и с опорой на неподвижную старину («Чем старина сама себя пережила: она не совалась!») до первооткрывателя «моря юности» инженера Николая Эдвардовича Вермо (намек, как уже говорилось в статье, сразу и на великого мечтателя из Калуги К. Э. Циолковского и на творца учения о сфере разума, «ноосфере» В. И. Вернадского) — необыкновенно богата и сложна. Небольшой степной мясосовхоз в Родительских Двориках стал своего рода опытной, условной площадкой для многих дерзаний, экономических экспериментов и этических исканий Николая Вермо, молодой руководительницы Надежды Босталоевой, зоотехника Високовского. Будущее, которое они приближают своими делами, неистовым творчеством, не во всем подотчетно, подвластно им. Они первооткрыватели целого мира новых отношений, их мечты часто сделаны из причудливого материала прошлого и настоящего. С глубочайшей искренностью Платонов показывает известную неготовность многих из них даже к тому счастью, которое эти герои... сами же создают. Так, Николай Вермо и Надежда Босталоева, способные открывать целые моря воды на дне пустынь, прожигать землю вольтовой дугой, мечтать о коровах, дающих целые реки молока, не знают еще, как построить собственную семью, не впав в «эгоизм» личного счастья. Они не знают, как вписать в свой жизненный уклад такое чудо красоты, волнующее и их, как музыка. Из всех форм хозяйственной кооперации та же Босталоева знает только формы шефской помощи: все решается сразу же, если удается «завести себе шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его». И старушка Федератовна, условный собирательный образ, сфера гуманизации и примирения всех крайностей в повести, критерий здравого смысла среди вдохновенных романтиков, рвущих в клочья любой покой, порой вынуждена давать резонный «окорот» работе безостановочного фанатичного ума, грезам наяву этих неистовых мечтателей.

Как и утопический роман «Чевенгур», повесть заключает в себе в сжа-

том, свернутом, часто деформированном виде сложные гуманистические проблемы. И даже проблему сбережения жизни на земле. В повести писатель предстает в смене различнейших состояний — от состояния «восторжен до крика» до состояния «тревожен до боли». В повести живет скрытое многоголосие, спрятанная диалогичность, стихия исповеди и сарказма. В странной «конфузной» форме повести особенно удивителен нарочито корявый язык ее. Однако шаблоны канцелярского, митингового стиля, поднятые над естественной стихией стиха и над литературной «нормой», вовсе не делают речь героев функционально сниженной, комедийной: для Платонова они полны смысловой и эмоциональной напряженности. Платоновское слово можно... обойти и осмотреть с разных позиций, как скульптуру, оно создает своеобразный эпицентр его стилистического мира, который не теряет богатств живого мира.

Джан (1934). Впервые (в отрывках) — «Лит. газ.». 1938. № 43. 5 авг. («Возвращение на родину»); журн. «Огонек». 1947. № 15 («Счастье вблизи человека»); в сокращенном виде в журнале «Простор». 1964. № 9.

В архиве А. П. Платонова среди заметок и набросков хранится такая запись: «Важное. Утрата матери Чагатаевым — утрата души; и поиски души всю остальную жизнь» (ЦГАЛИ, архив А. П. Платонова, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 6). Впервые отыскавшая и опубликовавшая эту запись кандидат филологических наук Н. Г. Полтавцева (статья «Человек и природа. Философские повести «Женьшень» М. Пришвина и «Джан» А. Платонова») так определила философский смысл повести «Джан», ее основной мотив: «Как и Пришвин, Платонов понимает, что человек часть природы, но понимает по-иному. Пафос социальных преобразований побуждает Чагатаева поставить перед собой сложнейшую задачу: преодолеть отчуждение между людьми и миром, превратить их из природного вещества в людей общественных...» (Филологические этюды. Ростов, 1977. С. 27—28).

Критика уделила много внимания этой замечательной повести. В интересных работах Л. Аннинского пафос социальных преобразований 30-х годов, отмеченный Н. Г. Полтавцевой, конкретно-исторические истоки гуманистического подвига коммуниста Назара Чагатаева, главного героя повести, выводящего народ «джан» из мертвой впадины в пустыне, смещены, несколько произвольно, на второй план. Для Л. Аннинского главное в повести — попытка соединить европейский миф о Прометее с «азиатским мифом о народе, идущем через пустыню к земле обетованной». (Восток и Запад в творчестве Андрея Платонова//Простор. 1968. № 7. С. 94—95.) Для ученого В. Турбина «Джан» — почти легенда, прекрасная и полузабытая, где «есть пророк... есть народ, который он выводит из мрака» (Мистерия Андрея Платонова//Мол гвардия. 1965. № 7. С. 302). Элементы «символической двуплановости», «реалистических мифов» наряду с утверждением гуманистической сущности социализма отметили

в повести «Джан» Е. Ландау (Страиный н обыкновенный человеческнй взгляд//Новый мир. 1965. № 6), В. Дорофеев (Платонов А. В прекрасном н яростном мире. М., 1965), В. Васнльев (Андрей Платонов. М., 1982. С. 147).

Письма А. П. Платонова к жене нз Туркменин, где он побывал незадолго до I съезда писателей СССР с группой пнсателей (В. Луговскнм, Вс. Ивановым, Гр. Саиниковым), очерк «Горячая Арктнка», напнсанный в то же время, позволяют яснее увидеть жнзненную программу героя повестн как реального творца новой судьбы обездолеиных н угнетенных, как «большевика пустынн н весны» (Луговской). «Эта программа,— как отметнла критик П. А. Бороздина,— перекликается — безусловно, сложно, через «еле уловимые формы фольклорной темы» (Платонов) — с характернымн для тех лет мотнвами стнхов, очерков, посвященных социалнстническому стронтельству в Туркменни:

Вздымались фабрикн, заводы, школы,
И женщнны сннмали паранджу,
И в свежем поколенье комсомола
Перерождалась Азня...»

(Бороздина П. А. Повесть А. Платонова «Джан»//Творчество А. Платонова. Воронеж, 1970. С. 97).

СОДЕРЖАНИЕ

Платонов А. П.

П37 Повести и рассказы: (1928—1934) / Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Чалмаева.— М.: Сов. Россия, 1988.—480 с., 1 л. портр.

В настоящем издании наряду с уже не раз издававшимися повестями «Сокровенный человек» (1928) и «Джан» (1934), которые ныне предстают как составная часть целой серии произведений о «сокровенном» в человеке, в народе, в нравственной истории человечества, читатель получает возможность ознакомиться с неизвестными и малоизвестными доселе шедеврами платоновской прозы — рассказом «Усомнившийся Макар» (1929), повестями «Котлован» (1928—1930), «Впрок» (1931), «Ювенильное море» (1934). Сборник вносит очень существенные дополнения и поправки в традиционные представления о писателе-гуманисте, раскрывая еще одну сторону его уникального дарования — искусство создания социально-философской прозы.

П $\frac{4702010200-224}{М\text{-}105(03)88}$ КБ—45—48—1987 Р2

ISBN 5—268—00051—9

Андрей Платонович Платонов

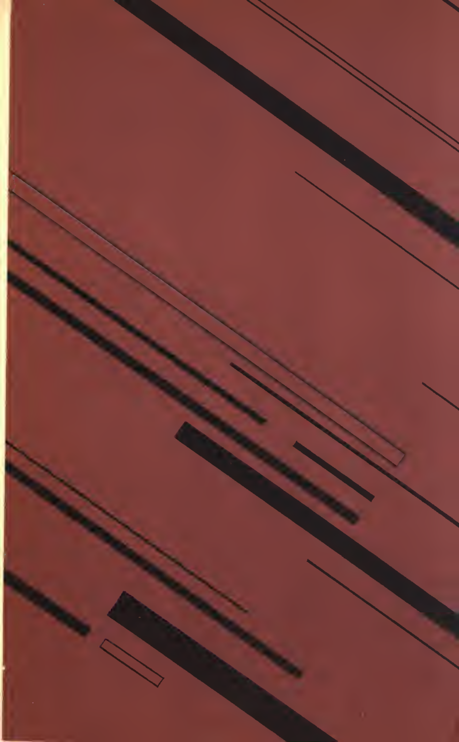
ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Редактор **Э. С. Смирнова**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технический редактор **Е. В. Кузьмина**
Корректоры **М. Е. Козлова, Т. А. Лебедева**

ИБ № 5481
Сдано в набор 10.11.87 Подп. в печать 20.04.88. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2 (на прикл. мел. офс.) Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,31 (в т. ч. прикл. 0,11) Усл. кр.-отт. 25,83. Уч.-изд. л. 27,30 (в т. ч. прикл. 0,04) Тираж 100 000 экз. Заказ 1912. Цена 2 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-230.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



Андрей Платонов